

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

3
1988



ИЗДАТЕЛЬСТВО
• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

МАЙ—ИЮНЬ

3

1988

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1965
ГОДУ

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Желицки Б. Й.</i> Основные сдвиги и тенденции развития социально-классовой структуры ВНР в 60-х — первой половине 80-х годов.	3
<i>Лопатнюк С.</i> (ПНР). Польско-советское экономическое сотрудничество в период шестилетнего плана	15
<i>Кирилина Л. А.</i> Историкография революционного движения в словенских землях в 1848—1849 годах	23
<i>Лециловская И. И.</i> Иллиризм в русской журналистике 30—40-х годов XIX века	30
<i>Стахеев В. Ф.</i> Романтизм в зарубежных славянских литературах как литературное движение эпохи формирования наций	42
<i>Чепелевская Т.</i> Жанровая специфика произведения И. Цанкара «Батрак Ерней и его право» (К вопросу о жанре притчи в словенской литературе)	56
<i>Луценко Н. А.</i> Настоящее историческое в системе и функционировании славянских языков	65
<i>Гиндий Л. А.</i> К переводческой технике кирилло-мефодиевской школы: две старо-славянские кальки в Суврасльской рукописи	76

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Неужели «запретная зона»?	81
-------------------------------------	----

СООБЩЕНИЯ

<i>Липатов А. В.</i> К 100-летию Литературного Общества им. А. Мицкевича	88
--	----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Калоева Е. В.</i> V. Goati. SKJ, kriza, demokratija	93
<i>Достяк И. С.</i> В. И. Шеремет. Османская империя и Западная Европа. Вторая треть XIX в.	94
<i>Никольский С.</i> Исследование литературных связей в Оломоуцком университете	96
<i>Молошная Т. Н.</i> Туру opisów gramatycznych języka. Materiały polsko-czeskiej sesji naukowej	99

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

<i>Мельников Г. П.</i> Marek Bydžovský z Florentina. Svět za tři českých králů. Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526—1596.	101
<i>Лабунцев Ю.</i> Podlupcza-Majerowicz M. Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu.	102
<i>Фрейденберг М. М.</i> А. С. Мильников. Легенда о русском принце (Русско-славянские связи XVIII в. в мире народной культуры)	103

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В. Н. Топорову — 60 лет	105
<i>Гребенюк В. П.</i> XXV Пленарное заседание Международного комитета славистов	106
<i>Ритчик Ю. И.</i> Пражская конференция МАИРСК	107
<i>Костышко И. И.</i> Научная конференция Международной комиссии по историко-славистическим исследованиям	109

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. Н. КАВКО (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
 А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, А. А. ЗАЛИЗНЯК, М. С. КАШУБО,
 В. П. КОЗЛОВ, М. Н. КУЗЬМИН, Г. Г. ЛИТАВРИН (зам. главного редактора),
 Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
 Л. Н. СМИРНОВ (зам. главного редактора), Л. А. СОФРОНОВА, Е. Н. ФЛОРЯ

Адрес редакции: 121069, Москва Г-69, Трубицкий пер., д. 30а

Телефон 290-27-40

Зав. редакцией *Е. В. Пономарева*



ОСНОВНЫЕ СДВИГИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВОЙ СТРУКТУРЫ ВНР В 60-Х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 80-Х ГОДОВ

Коммунистические и рабочие партии социалистических стран Европы, в том числе и Венгерская социалистическая рабочая партия (ВСРП), уделяют особое внимание изучению различных аспектов формирования и развития социалистического общества. Социальные сдвиги отражаются в концентрированном виде в социально-классовой структуре той или иной страны. Как подчеркивал В. И. Ленин, без знания социальной структуры «нельзя сделать ни шагу в какой угодно области общественной деятельности» [1]. Именно этому вопросу, занимающему центральное место в системе общественных отношений, и уделяется внимание в настоящей статье. В ней на примере развития венгерского общества предпринята попытка осветить основные социальные перемещения и важнейшие тенденции современного общественного развития.

В начале 60-х годов ВНР завершила построение основ социализма, что было зафиксировано в решении VIII съезда ВСРП (ноябрь 1962 г.). Глубокие революционные преобразования в экономике и социальной жизни были связаны с установлением социалистических производственных отношений, проведением индустриализации страны, кооперированием сельского хозяйства, дальнейшими прогрессивными изменениями в структуре экономики и рабочей силы, качественными преобразованиями последней. Если в начале социалистического строительства (1949) еще более 70% активного самодеятельного населения страны было занято в сфере частного-капиталистического производства и к государственному сектору относилось всего 28%, то в 1962 г. социалистический сектор одержал почти полную победу [2, 25. old]. Удельный вес единоличного крестьянства сократился до 2,1%, а мелких ремесленников и торговцев до 1,9% в составе самодеятельного населения [3, 40. old.]. Изменилось соотношение между населением, занятым в сельском хозяйстве и в промышленности: первое сократилось до 34%, а второе возросло до 39% (против 54 и 22% в 1949 г.) [2, 27, 40. old.].

В начале 60-х годов в ВНР сформировалась адекватная достигнутому этапу социалистического строительства социально-классовая структура. Социальный облик страны с этого времени уже целиком определяло наличие значительно возросшего, социалистического по своей сущности рабочего класса (насчитывавшего 2,4 млн человек), сократившегося по своей численности и удельному весу, по качеству обновленного (кооперированного) крестьянства и народной по своему характеру интеллигенции. Наряду с этими основными элементами социальной структуры страны в составе населения ВНР оставались еще и другие мелкие социальные группы, однако уже не они определяли ее сущность.

Вслед за масштабными и *массовыми* социальными перемещениями в обществе, фактически завершившимися к началу 60-х годов, в социальной

структуре ВНР продолжались определенные, но уже менее значительные чем в 50-е годы, количественные сдвиги. Социальная структура, сформировавшаяся к началу 60-х годов, в общих чертах сохранилась до наших дней, хотя в ней продолжались и некоторые количественные, сочетающиеся с существенными качественными изменениями, перемены. Это, в первую очередь, начавшийся процесс сближения всех социальных сил, упрочение их союза, а также качественные преобразования внутри каждой из социальных групп.

Важнейшим стимулятором всех этих изменений оставалась, как и прежде, экономика. Преобразования в экономической жизни в 60—80-е годы продолжали влиять на видоизменение структуры рабочей силы, оказывая решающее воздействие на профессиональный и социальный состав населения. Основным направлением перемещения рабочей силы в 60-е годы оставался переход сельскохозяйственного населения в другие отрасли экономики (правда, этот процесс уже не был таким интенсивным, как в 40—50-е годы). В результате в сельском хозяйстве в 1970 г. уже осталось только 25,5% населения, а удельный вес занятых в промышленности и на строительстве вырос до 43,7%, в прочих несельскохозяйственных отраслях — до 28,8%, с последующими изменениями в 1980 г. соответственно: 20,3%, 42,3 и 37,4% [4]. Специалисты Министерства труда ВНР считают оптимальным такое отраслевое распределение трудовых ресурсов в стране, когда в сельском и лесном хозяйстве будет работать 18%, в промышленности и на строительстве 42%, а в третьей сфере (транспорт, торговля и прочие отрасли обслуживания населения, а также нематериальные отрасли) — 40% населения [5, 107. old.]. По состоянию на 1985 г. соотношение между этими тремя сферами было следующим: 21,1%, 38,5 и 40,4% [6, 7. old.]. Перемещение рабочей силы между отраслями народного хозяйства, естественно, повлекло за собой и изменения в ее профессиональной структуре, способствовало социальной переориентации значительной массы трудящихся. Это выразилось, как и на предыдущем этапе, в переходе крестьян в ряды рабочего класса (этот процесс продолжался до начала 70-х годов).

В социальных перемещениях последних десятилетий, в сближении классов и социальных групп важную роль сыграли также научно-технический прогресс и система обучения кадров. Рост технической вооруженности труда, распространение индустриальных методов производства в сельском хозяйстве кардинальным образом меняли характер труда крестьянства в кооперативах, сближали крестьян с рабочими; рост образовательного и профессионального уровня рабочего способствовал сближению его труда и его самого с инженерно-техническими кадрами, т. е. с частью интеллигенции. Иными словами, на рассматриваемом этапе социального развития в обществе развернулись социально-интеграционные процессы, способствующие сближению самых различных социальных групп венгерского общества. Система высшего и среднего специального образования также являлась одним из важных каналов, открывающих путь детям рабочих, служащих и крестьян в ряды интеллигенции.

В Венгрии характерным для этапа 1949—1960 гг. было то, что около половины выходцев из крестьянских семей и почти все выходцы из мелкобуржуазной среды поменяли социальную группу своих родителей. Структурная мобильность населения привела к тому, что в середине 70-х годов половину рабочего класса составляли бывшие крестьяне (или выходцы из их среды), а $\frac{3}{4}$ интеллигенции являлись выходцами из рабочих и крестьян (среди служащих удельный вес их был еще выше) [3, 252. old.; 7, 1052. old.]. В целом небезынтересно отметить, что за 1945—1980 гг. изменилась социальная принадлежность 80% венгерских семей.

Характерно также, что социально-интеграционные процессы развернулись не только в сфере классов и слоев общества, но дали о себе знать и на уровне основной ячейки общества — семьи. Открытый характер общества, возросшие возможности для социальных перемещений, растущая мобильность всех социальных групп привели к тому, что в начале 70-х годов около 40% активной самодостаточной части населения, или около

Изменения в структуре самостоятельного населения ВНР (в %) [3, 42. old]

Классы и слои общества	1962—1963 гг.	1973 г.
Занятые физическим трудом		
1. Рабочий класс, в т. ч.:		
а) рабочие, занятые физическим трудом в сельскохозяйственных отраслях		
— квалифицированные рабочие	17,1	21,6
— обученные рабочие	15,3	17,0
— вспомогательные рабочие	14,4	11,6
б) сельскохозяйственные рабочие	6,5	4,8
в) помогающие члены семей рабочих	0,4	0,4
2. Крестьянство, в т. ч.:		
а) кооперированные крестьяне	23,0	14,6
б) единоличные крестьяне	2,1	1,3
3. Мелкие частные ремесленники и торговцы	1,9	1,7
Занятые умственным трудом		
4. Интеллигенция	3,4	5,6
5. Служащие (работники, занятые простым умственным трудом)	14,3	18,4
6. Руководители непосредственных производственных процессов (мастера, начальники цехов и др.), принадлежащие по статистике к рабочим и крестьянам	1,6	3,0
Всего	100,0	100,0

30% всего населения проживало в смешанных, т. е. в социальном отношении неоднородных семьях. Конкретные исследования показали, что только 9,4% семей оставались чисто крестьянскими по своему составу, 12% принадлежали к социальным категориям, занятым только умственным трудом, а 39% являлись семьями с социально-однородным рабочим составом. Смешанные рабоче-крестьянские семьи (чаще встречающиеся в сельской местности) составляли около 8%, а рабоче-интеллигентские (наиболее распространенные в городах) — около 14% всех семей. Остальные семьи были еще более неоднородными в социальном отношении, т. е. состояли из представителей более чем двух социальных групп [3, 42—43. old.]. На рубеже 70—80-х годов уже почти 70% семей являлись смешанными по своему социальному составу. Эти данные показывают степень сложного социального переплетения современного общества на уровне семей и вместе с тем свидетельствуют о реальных процессах сближения классов и слоев общества, о сложностях четкого определения социальных градей современных классов и социальных групп.

Итак, как было показано выше, структурные сдвиги в экономике страны привели к изменению состава рабочей силы, к усилению социальной мобильности между отдельными классами и слоями общества. Эти процессы продолжают и сегодня, соответствующие структуры находятся в постоянном движении, корректируя в ту или другую сторону и саму социально-классовую структуру страны. Изучение этих процессов позволяет судить о глубоких качественных сдвигах в социально-классовом составе общества.

Исследования по конкретным проблемам социального перерасслоения в ВНР проводились три раза — в 1962/1963, в 1973 и 1983 гг. Эти материалы микроценовых переписей населения, проведенных ЦСУ ВНР, показывают, что в венгерском обществе и после построения основ социализма продолжались существенные структурные изменения (табл. 1). Данные таблицы подтверждают тенденцию роста рабочего класса, раскрывают важные качественные изменения в его составе, в социальном составе в целом. Вместе с тем они свидетельствуют о том, что период массовых социальных перемещений в сравнении с 50-и годами закончился, снизились темпы социальной мобильности и в уже сформировавшейся, социалистической по своему типу и характеру, социально-классовой структуре страны начались процессы совершенствования, модернизации, наступил период, ха-

рактизирующийся количественными коррекциями и глубокими качественными изменениями. Данные микроценовой переписи 1983 г. нам еще не доступны, но предварительные фрагментарные сведения о ней позволяют определить некоторые характерные отличительные особенности социальных перемещений на последующее десятилетие, подметить некоторые новые тенденции социального развития, а следовательно и совершенствования социально-классовой структуры страны. Это, прежде всего, сокращение интенсивности социальных перемещений, в результате завершения крупных макроструктурных социально-экономических преобразований. Радикальным изменением в процессе социальной мобильности в начале 80-х годов является то, что теперь большинство выходцев из крестьян пополняют ряды квалифицированных и обученных рабочих, а также интеллигенции. Ранее они пополняли в первую очередь контингент вспомогательных, малоквалифицированных рабочих. Отличительной чертой процесса является также некоторое сокращение преемственности профессиональной и социальной ориентации детей. Так, если в 1973 г. на руководящие посты попадало из рядов работников умственного труда в 18 раз больше лиц, чем из крестьян, и в 6 раз больше, чем из числа квалифицированных рабочих, то в 1983 г. этот разрыв сократился соответственно до 11 и 4 [8, 1987, 14 I].

Наряду с межклассовыми социальными перемещениями 1962—1985 гг. важное значение приобрели внутриклассовые изменения, характеризующиеся усложнением структуры каждого класса и социального слоя. Чтобы получить представление об этом процессе, рассмотрим конкретные сдвиги, происшедшие внутри основных классов и социальных слоев общества.

Рабочий класс Венгрии в 60—80-е годы, как и на этапе строительства основ социализма, продолжал сохранять свои ведущие позиции в обществе. В начале 60-х годов он составлял 50% экономически активного населения страны, что свидетельствует вообще о достижении нового качественного состояния общества. В последующие годы в связи с ростом численности и удельного веса он стал составлять абсолютное большинство населения (58% в 1980 г.). По данным статистики в 1960 г. он насчитывал 2416 тыс., 1970 — 2847, 1973 — 2949, 1977 г. — 3025 тыс. человек; в дальнейшем наблюдалось некоторое сокращение его численности (1980 г. — 2947, 1985 г. — 2731 тыс. человек). Следовательно, наиболее высокий удельный вес его в составе активного самостоятельного населения был достигнут в 1977 г. — 59,5%, а затем происходили социальные перемещения, характерные для развитых в экономическом отношении стран. Сокращение его численности было связано как с демографическими процессами (снижение в составе населения его экономически активной части — в 1973 г. 5085 тыс., в 1977 — 5083, в 1980 г. — 5073 тыс. человек), так и перераспределением рабочей силы между основными отраслями народного хозяйства, в частности, возвращением ее части в сельское хозяйство в результате укрепления сельскохозяйственных кооперативов и распространения в них труда промышленного характера. И все же, несмотря на эти тенденции, рабочий класс оставался и остается абсолютным большинством населения [2, 28. old., 9; 10, 27. old.; 8, 1986, 23 III].

Рост рядов рабочего класса был результатом продолжающегося социального перемещения в основном из крестьян в рабочие, определенного расширения социальных границ рабочего класса, а также самовоспроизводства во все возрастающей степени за счет молодежи из рабочих семей. Пополнение из крестьян шло различными путями, с различной поэтапной интенсивностью. В 60—70-е годы это выразилось в возрастании удельного веса выходцев из крестьян в составе рабочего класса более чем до 50% [11]. При этом следует подчеркнуть, что по сравнению с 50-и годами, крестьяне вливались в ряды рабочих более подготовленными в профессиональном отношении, так как молодежь предварительно проходила квалифицированную подготовку в специальных учебных заведениях. Отличительной особенностью являлось сокращение до минимума и даже прекращение перехода в ряды рабочих крестьян среднего и старшего возраста. Еще одним источником пополнения рядов рабочего класса в 60-е годы бы-

ли женщины-домохозяйки, привлекаемые в то время к общественно-полезному труду (правда, в дальнейшем возможности этого последнего источника также сузились). Таким образом, воспроизводство рабочего класса на своей собственной социальной основе становилось ведущей тенденцией его развития. Оно обеспечивалось (ввиду сокращения пополнения из других, иссякших социальных источников) прежде всего возросшим удельным весом самого рабочего класса в структуре общества. Результаты социологических исследований в рамках микроцензовой переписи 1962—1963 гг. показывают, что в те годы еще 61% всех обученных и 68% подсобных (вспомогательных) рабочих являлись крестьянами по своему происхождению. По прогнозам Госплана ВНР на 1990 г. удельный вес этих квалификационных групп рабочих будет соответственно 25% и 33% [7, 933. old.; 12, 98. old.].

Массовое пополнение рабочего класса из других социальных источников на протяжении 50—60-х годов способствовало, с одной стороны, сближению с ним других социальных групп, а с другой — усложнению его внутриклассовой структуры, внутриклассовой дифференциации. Изучение этих процессов и социальных сдвигов в составе рабочего класса имеет важное научное и политическое значение, облегчает руководство социальными процессами, помогает выработке дифференцированной политики по отношению к его различным отрядам и группам.

Основными отрядами венгерского рабочего класса, как и в прежние годы остаются рабочие промышленности и строительства¹. В 1960 г. они составляли 1,3 млн (или 54% рабочего класса); в 1970 г. — 1,67 млн человек (59%); под влиянием интенсивного развития в 70-е годы сферы услуг и обслуживания населения, растущего перехода части рабочих в эти сферы, численность и удельный вес основного отряда рабочего класса к 1980 г. несколько сократился (до 1600 тыс. человек или 55% состава) [13; 14]. При этом в условиях роста механизации производства произошло сокращение именно числа и удельного веса промышленных рабочих при продолжающемся росте отрядов, занятых в сфере строительства. В 60—70-е годы быстро возрастала численность рабочих транспорта, торговли, здравоохранения, культурного и коммунально-бытового обслуживания, что вызвало увеличение их удельного веса в составе рабочего класса за 1960—1980 гг. с 29% до 37% [13; 14]. За это же время в условиях растущей механизации сельскохозяйственного труда сократился удельный вес и сельскохозяйственных рабочих с 14% до 8% [13; 14].

Для внутриклассовых социальных сдвигов, наряду с межотраслевыми перемещениями, характерны были и существенные качественные изменения, выразившиеся в последовательном росте общеобразовательного уровня и профессиональной подготовленности рабочего класса в соответствии с требованиями развернувшегося научно-технического прогресса. С начала 60-х до начала 70-х годов в составе рабочего класса прослойка, занятая умственным или преимущественно умственным трудом на производстве, выросла с 29 тыс. до 153 тыс. человек [15]. Если в 1949 г. только 18% венгерских рабочих имели 8-летнее и 2% среднее (12-летнее) образование, то в 1960 г. соответственно 30% и 3,5%, в середине 70-х годов — 57% и 8%, в 1980 г. — 67% и 12%, а в середине 80-х годов уже 45% имели аттестаты о среднем образовании [2, 37. old.; 16]. Удельный вес лиц с высшим образованием в составе рабочего класса ВНР хотя несколько и вырос, но все же остается еще достаточно низким (в 1949 г. — 0,1%, в 1980 г. — 0,5%).

Важные качественные изменения произошли в квалификационной структуре рабочего класса (табл. 2).

Согласно материалам XIII съезда ВСРП квалификационная структура венгерского рабочего класса продолжала в дальнейшем совершенствоваться. К началу 1985 г. среди рабочих, занятых физическим трудом, удельный вес квалифицированных достиг 46%, а вместе с рабочими умственного труда составил почти половину всего рабочего класса. Продолжала расти

¹ Венгерская статистика в состав рабочих промышленности традиционно не включает сферу строительства, выделяя в самостоятельную группу строительных рабочих.

Изменения в квалификационной структуре венгерского рабочего класса (в %) [17]

Степень квалификации	Годы			
	1960	1970	1973	1980
1. Рабочие, занятые умственным трудом	3,0	4,8	5,2	3,1
2. Рабочие, занятые физическим трудом, в т. ч.:	97,0	95,2	94,8	96,9
— квалифицированные	31,8	37,0	39,6	44,6
— обученные	27,1	30,7	30,7	37,7
— подсобные	38,1	27,5	24,5	14,6
Всего:	100,0	100,0	100,0	100,0

доля и обученных рабочих при одновременном сокращении занятых подсобным (вспомогательным) трудом. Вместе с тем несмотря на явную тенденцию роста численности и удельного веса квалифицированных и обученных рабочих, еще далеко не все они были заняты механизированным трудом. Приведенные данные являются средними показателями для рабочего класса страны в целом. Квалификационная структура рабочего класса различна в зависимости от отраслей экономики и групп промышленности, от технологического уровня и технической оснащенности последних. В целом за рассматриваемые годы неуклонно росла механизация труда рабочих. Так, если в 1964 г. труд всего 37,4% рабочих был связан с машинным оборудованием или с машинами, то в 1972 г. — уже более 39%, а в 1977 г. более 50% [18].

Необходимо обратить внимание еще на одну особенность социального состава и структуры рабочего класса современной Венгрии — высокий удельный вес вовлеченных в маятниковую миграцию. Это — рабочие, проживающие преимущественно в селах и поселках и совершающие частые, в большинстве случаев ежедневные, регулярные поездки на работу в города. В этой связи отметим, что в 70—80-е годы более половины промышленных рабочих ВНР проживали в сельской местности. Численность рабочих-мигрантов, совершающих ежедневные маятниковые поездки на работу, составляла более 1 млн человек, т. е. приблизительно $\frac{1}{3}$ всего рабочего класса страны. Рабочие этой категории по своему социальному происхождению являются в значительной мере выходцами из крестьянства, но немало среди них и потомственных рабочих второго и третьего поколения. Такой высокий удельный вес рабочих-мигрантов в составе венгерского рабочего класса свидетельствует о значительных социальных перемещениях в венгерском селе, где более 60% жителей заняты несельскохозяйственным трудом.

Происшедшие в рабочем классе изменения свидетельствуют о его возросшей возможности и способности оказывать социальное влияние на все остальные социальные группы ВНР.

Удельный вес и численность в составе населения крестьянства — основного союзника рабочего класса — за 60—70-е годы существенно сократились. Если в 1960 г. оно составляло 30,7% занятых, то в 1980 г. — только 13,2% (или же 1460,3 тыс. и 670,3 тыс. человек). При этом число единоличных крестьян сократилось с 889 тыс. до 63,6 тыс. Характерно, что вслед за ростом числа кооперированных крестьян, достигшего в начале 60-х годов своего максимума (1 млн человек), началось его последовательное сокращение (до 867 тыс. в 1970 г. и 606 тыс. в 1980 г.) [2, 28—29. old.; 13]. Такое, более чем двухкратное, сокращение общей численности крестьянства явилось следствием глубоких экономических и социальных преобразований на селе, изменения форм и методов крестьянского труда под влиянием научно-технических преобразований и модернизации производства. Завершение в начале 60-х годов кооперирования в сельском хозяйстве способствовало усилению социального единения крестьянства,

преодолению в его рядах остатков былой значительной внутренней дифференциации (деления на бедных, безземельных, малоземельных, мелких, средних, зажиточных крестьян, кулаков и др.). Изменилось социальное качество крестьянства. Оно сплотилось на почве коллективной собственности, но все же в структурном отношении не стало полностью единым. В его составе в результате модернизации производства, распределения труда и других факторов начались процессы новой внутренней дифференциации. Глубокие экономические и социальные процессы, оказавшие влияние на крестьянство, способствовали его сплочению на коллективистской основе, но, как отмечают венгерские исследователи, оно произошло не путем организации его в «новый» или «единый» класс, а путем освобождения бывших крестьян от характерного для него в прошлом единоличного, разрозненного мелкотоварного крестьянского труда и традиционного образа жизни.

Показательно, что к началу 80-х годов всего 1,2% активного самодеятельного населения или немногим более 8% всего венгерского крестьянства сохранили старый традиционный крестьянский труд и быт. Остальные заняты видоизмененными формами крестьянского труда в кооперативах или же трудом, коренным образом отличающимся от прежнего [13]. Сегодня $\frac{2}{5}$ части занятых трудовой деятельностью в сельском хозяйстве выполняют работу, которую нельзя даже видоизмененной формой крестьянского труда [18, 71. old.; 12, 105. old.]. С 70-х годов в венгерских сельскохозяйственных кооперативах широкое распространение получило так называемое побочное, или вспомогательное производство, которое носит в основном промышленный характер (консервные заводы, ремонтные мастерские, строительные отряды и др.), усилился процесс найма рабочей силы, рос профессиональный и квалификационный уровень трудящихся. Если в начале 60-х годов почти все члены кооперативов (за исключением незначительной части механизаторов и животноводов) были заняты физическим трудом, прежде всего, в растениеводстве, то в конце 70-х годов — уже менее половины. В 1978 г., например, в сельскохозяйственных кооперативах 300 тыс. человек были заняты физическим трудом несельскохозяйственного характера, а около 90 тыс. — умственным трудом [2, 58. old.]. Экономическое и социальное развитие села в последние два десятилетия способствовало преобразованию характера труда, постепенному исчезновению патриархальных черт у крестьянина, преобразованию части крестьянства в новые отряды рабочего класса (по мнению венгерских исследователей, сегодня примерно половину трудящихся сельхозкооперативов следует считать рабочими). Разумеется, упомянутый процесс еще не привел сегодня к отмиранию крестьянства как класса, хотя основные тенденции, с особой силой проявившиеся в его рядах в 60—80-е годы, влияют именно в этом направлении. Они постепенно меняют его внутреннее содержание, характер и сущность, способствуют дальнейшему социальному сближению двух классов современного венгерского социалистического общества.

Динамично развивающейся составной частью венгерского общества стали социальные слои, занятые умственным трудом. Происходит неуклонный рост их числа и удельного веса в составе населения (с 763 тыс. в 1960 г. до 1 млн 388 тыс. человек в 1980 г., достигнув соответственно 16% и 27% состава самодеятельного населения) [13; 14]. Эта далеко не однородная группа трудящихся по своей численности и удельному весу в венгерском обществе стала вслед за рабочим классом самой многочисленной социальной силой. Такой рост работников умственного труда явился результатом развернувшегося научно-технического прогресса, повышения образовательного уровня венгерского населения, перехода в их ряды трудящихся других социальных групп, и, прежде всего, рабочих и крестьян. Характерно, что за годы социалистического строительства сотни тысяч рабочих пополнили ряды руководящих работников государственного и политического аппарата (в 70-е годы насчитывалось около 250 тыс. человек, которые в свое время непосредственно с производства были направлены на такие должности) [11]. По данным проведенного в 1963 г. специаль-

ного исследования, среди венгерской интеллигенции 58% общего контингента составляли лица, которые по своей первоначальной профессии являлись работниками физического труда [12, 111. old.]. На рубеже 60—70-х годов среди руководящего состава всех сфер общественной и экономической жизни 39% являлись рабочими, а 25% крестьянами по своему социальному происхождению; среди прочих категорий работников умственного труда их удельный вес составлял — 49% и 36,3% [19]. Эти данные свидетельствуют о том, что работники умственного труда являются выходцами преимущественно из рабочих и крестьян.

В социальном отношении состав занятых умственным трудом неоднороден. Венгерская статистика причисляет сюда интеллигенцию (как наиболее образованную и высококвалифицированную категорию с высшим, а отчасти средним специальным образованием, а также руководящих работников партийно-государственного аппарата с таким образованием) и служащих, занятых в основном интеллектуальным трудом среднего уровня сложности. Отметим, что с начала 70-х годов служащие в ВНР выделяются в самостоятельную социальную группу (см. Конституцию ВНР 1972 г., материалы партийных съездов с XI съезда ВСРП), к которой причисляется весьма неоднородная масса работников умственного труда со средним образованием, занятая канцелярским или похожим на него трудом (их называют также «обученными» интеллигентами). В конце 70-х годов общая численность служащих составляла 800 тыс. человек [18, 74. old.]. В 60—70-е годы произошла значительная феминизация этой категории работников.

Венгерская интеллигенция в ходе социалистического строительства существенно изменилась. Она обновилась в социальном и структурном отношении — усложнилась ее внутренняя и профессиональная структура. Для интеллигенции характерным стало то, что уже в середине 70-х годов $\frac{9}{10}$ ее числа получили дипломы об образовании после 1949 г.; в конце 70-х годов 57% всей интеллигенции составляла возрастная группа до 40 лет. В составе новой интеллигенции стремительно возросли число и удельный вес лиц, имеющих технические специальности, что вытекало из потребностей экономического развития страны и условий развернувшегося научно-технического прогресса. Если в довоенные годы интеллигенция технического профиля составляла всего 13%, то в конце 70-х — уже более 25%. При этом значительно сократилась доля (с 33% до 6,7%) кадров с юридическим образованием [20]. Обращает на себя внимание и стремительный рост числа экономистов, врачей, педагогов (последние составили к началу 80-х годов 30% всех дипломированных специалистов) [8, 1983, 2 II], работников науки, культуры и искусства. Показательным в 70-е годы являлось увеличение числа лиц с высшим образованием в полтора раза; к началу 80-х годов их было 0,5 млн человек [8, 1983, 12 II]. Такой возросший интеллектуальный потенциал страны сделал возможным выполнение возросших задач социалистического созидания.

Специфической частью социальной структуры ВНР в современных условиях являются социальные группы трудящихся мелкого частного сектора (как известно, в ВНР еще существуют незначительные остатки частного предпринимательства — единоличные крестьяне, мелкие ремесленники и торговцы). Их удельный вес в структуре экономически активного населения уменьшился с 21% в 1960 г. до 3% в 1980 г. Наиболее существенно их число сократилось до середины 60-х годов, впоследствии оно фактически стабилизировалось, достигнув в 1980 г. 143 тыс. человек. Характерно, что среди занятых в мелкотоварном частном производстве во второй половине 70-х годов насчитывалось и около 23 тыс. рабочих [21], которые занимались удовлетворением растущих потребностей населения, в первую очередь, в сфере услуг. Как известно, работники этой категории привлекаются в ВНР к выполнению заказов не только населения, но и социалистического сектора в целом. ВСРП с 1957 г. неоднократно заявляла о необходимости использования их труда для социалистического строительства.

Наглядное представление о социальных процессах рассматриваемого

Изменения в социально-классовой структуре ВНР
(активное самостоятельное население) [4; 13—15]

Классы и слои	1949 г.		1960 г.		1970 г.		1980 г.	
	тыс. чел.	%	тыс. чел.	%	тыс. чел.	%	тыс. чел.	%
Рабочий класс	1582,8	38,8	2416,6	50,8	2847,2	57,1	2926,4	57,8
Крестьянство, в т. ч.:								
кооперированное	12,9	0,3	571,1	12,0	867,0	17,4	606,7	12,0
единоличное	1741,6	42,6	889,2	18,7	81,0	1,6	63,6	1,2
Интеллигенция и другие социальные группы, занятые умственным трудом	339,2	8,3	762,9	16,0	1112,8	22,3	1388,2	27,4
Мелкие ремесленники и торговцы	330,6	8,1	115,0	2,4	80,7	1,6	79,8	1,6
Капиталисты, помещики и прочие эксплуататоры	77,5	1,9	4,8	0,1	—	—	—	—
Все активное население	4084,9	100	4759,6	100	4988,7	100	5064,7	100

нами периода дает табл. 3, составленная по материалам переписей населения за 1949—1980 гг. и статистических ежегодников ВНР.

Эти показатели отражают важные качественные сдвиги в структуре венгерского общества: рост рядов рабочего класса и удельного веса трудящихся, занятых умственным трудом, интенсивность сокращения численности крестьянства. Наряду с этими изменениями в обществе под влиянием преобразования производственных отношений, ликвидации к началу 60-х годов эксплуататорских классов социальная структура ВНР претерпела и важное качественное изменение — она стала в своей основе социалистической, по характеру и сущности адекватной достигнутому этапу социалистического созидания. На этапе 1960—1980 гг. социальный организм ВНР продолжал совершенствоваться. Основным направлением дальнейших изменений было усиление открытого характера и социалистических черт всей социальной структуры, сближение с рабочим классом всех остальных социальных сил и особенно крестьянства. Важным событием рассматриваемого этапа явилось превращение рабочего класса в абсолютное большинство населения, рост его социального влияния и значимости в обществе. Последовательный рост его численности (вплоть до середины 70-х годов) сопровождался усложнением его внутриклассовой структуры. Внутри класса крестьянства происходят глубокие социальные процессы, сближающие его с рабочим классом. Заметным явлением в социальной жизни был стремительный рост категорий трудящихся, занятых умственным трудом. Согласно прогнозам венгерских специалистов в 90-е годы их удельный вес в составе занятого населения (без учета мелкого частного сектора) должен достигнуть 30—32%, а доля работников физического труда сократится до 65% [12, 112. old.].

Под влиянием начавшегося научно-технического прогресса появилось немало таких видов деятельности, при которых умственный и физический труд уже не так однозначно отделены друг от друга, как ранее. Рост образовательного и культурного уровня трудящихся, появление новых специальностей приводят к росту категории работников умственного труда, не относящейся к интеллигенции. Это означает, что в социальной сфере происходит сближение между рабочим классом и интеллигенцией. Правда, этот процесс в 60—70-е годы развивался несколько медленнее, чем процесс сближения между рабочим классом и крестьянством.

Упомянутые социальные процессы сопровождалось усилением внутриклассового профессионального расслоения, способствовали усложнению структуры классов и слоев общества. Вместе с тем указанные изменения еще не привели к утрате классового характера современной социальной структуры.

Социальная практика показывает, что процесс сближения классов и слоев общества, стирание социальных (внутриклассовых и межклассовых) различий не идет по прямой линии, а осложняется, сдерживается возрождением некоторых старых или появлением отдельных новых различий между ними. Иными словами, параллельно с усилением общей тенденции к гомогенизации, в обществе действуют и процессы, ведущие к социальной дифференциации. Хотя механизм последних еще недостаточно изучен, но уже можно констатировать, что в воспроизводстве или появлении такой дифференциации важную роль играют: место, занимаемое в разделении труда, деятельность вне общественно-организованного производства, дополнительные доходы, система распределения и перераспределения доходов. Одним из важных рычагов в механизме формирования и развития социальной структуры, точнее одним из факторов, детерминирующим ее изменения, является сфера распределения. Раскрытие механизма воздействия этой сферы на социальную дифференциацию в обществе и не является предметом исследования в настоящей работе (ибо не относится к базисным характеристикам, к непосредственным элементам социально-классовой структуры как таковой), все же именно на примере социальной политики, сферы распределения доходов можно наиболее четко проследить социально-интегрирующие и социально дифференцирующие явления, которые имели место в обществе.

Социальная политика в ВНР 60—70-х годов была направлена прежде всего на выравнивание жизненного уровня всех социальных групп. Важным положительным шагом на этом пути к социальной справедливости явилось сближение, а к концу 60-х годов и выравнивание реальных доходов рабочего класса и крестьянства. Параллельно с этим развивался и естественный процесс их дифференциации в зависимости от места жительства, работы, уровня образования и квалификации и пр. В итоге создалась ситуация, когда различия между доходами отдельных групп рабочего класса и крестьянства стали более значительными, чем различия между двумя классами. В ходе этой внутриклассовой дифференциации возникали различные по своим доходам статусные группы, прослойки (их детальное изучение — дело социологов). В целом в каждой из социальных групп четко выделились прослойки с высокими и низкими доходами. По подсчетам венгерских ученых в 1972 г. $\frac{1}{5}$ часть каждой социальной группы (верхняя) получала более $\frac{1}{3}$ всех доходов своего класса или социального слоя, а другая (нижняя или же наиболее низкооплачиваемая) — всего 10% (22, 25—26. old.). В 1977 г. доходы различных категорий классов и слоев приблизились к среднему уровню. В последующие годы процесс выравнивания продолжался с той только разницей, что, например, были существенно увеличены доходы низкооплачиваемой части рабочего класса, а высокооплачиваемые сохранили достигнутый уровень. Создалась ситуация, когда нивелировка доходов получала более широкое распространение, чем дифференциация по количеству и качеству труда. Так, например, если в середине 70-х годов различие между доходами квалифицированных и подсобных рабочих составляли еще 48%, то в конце десятилетия — уже только 45%. Такая практика в свою очередь приводила к нарушению социальной справедливости, к ухудшению трудовой морали в основных местах занятости, заставляла людей искать дополнительную сверхурочную работу. Экономисты подсчитали, что в 70-е годы у 9% рабочих и 11% кооперированных крестьян доходы были выше среднего уровня зарплаты этих социальных групп в основном именно за счет сверхурочного труда [23].

Процесс дальнейшей нивелировки доходов в начале 80-х годов в ВНР был остановлен, на производстве больше внимания стали уделять дифференциации оплаты труда в зависимости от уровня квалификации, образования, количества и качества труда, появились новые формы использования трудовой активности рабочих, базирующиеся на принципах материальной заинтересованности, на экономических стимуляторах. Разумеется, тем самым противоречия в этой сфере далеко не все исчезли, более того, возникали новые, которые вместе с уже имеющимися ранее факторами способствуют возникновению новой социальной и имущественной града-

ции в социальной сфере, что безусловно влияет на социальную структуру. В частности, деятельность в подсобных и приусадебных хозяйствах, занятие домашним ремеслом или торговлей, возможности получения нетрудовых доходов могут привести к увеличению социальных различий в обществе и требуют соответствующего регулирования и контроля со стороны государства. Иными словами, на социально-классовую структуру влияет целый ряд экономических и политических факторов, постоянно модифицирующих ее в ту или иную сторону. Процесс сближения классов и слоев общества, следовательно, сложен и его нельзя изображать схематично, лишенным противоречий, динамизма и многообразия.

И в заключение о некоторых новых явлениях в социальной структуре ВНР после 1980 г. Для них в целом характерно то, что в определенной мере они отличаются от тенденции ее развития в 60—70-е годы, подтверждают, что социальное развитие не идет по прямой линии, а является сложным процессом. В 80-е годы произошло некоторое уменьшение числа и удельного веса рабочего класса в составе самостоятельного населения страны (с 2,9 млн в 1980 г. до 2,7 млн человек в 1985 г., или с 57,8% до 55,5%) при одновременном росте числа крестьянства (соответственно с 670 до 679 тыс. человек, или с 13,2% до 13,8%), а также сокращение категорий трудящихся, занятых умственным трудом (прежде всего за счет служащих) с 27,4% до 26,5% [8, 1985, 23 III].

Первые признаки снижения удельного веса рабочего класса дали о себе знать еще в 70-е годы, когда началось уменьшение численности его отрядов, занятых в промышленности. Тогда это не привело к сокращению общей численности класса и явилось в основном результатом структурных перемещений части рабочего класса в другие отрасли экономики, прежде всего, в сферу обслуживания населения. Впоследствии под влиянием растущей механизации сельского хозяйства, увеличения машинного парка сельхозкооперативов, распространения в них производства промышленного характера (так называемое побочное, дополнительное или подсобное производство) кооперативы стали использовать рабочих по найму, которые после перехода на работу в кооперативы статистикой больше уже не учитывались в составе рабочего класса, а причислялись к кооперированному крестьянству. Именно в 80-е годы ускорился процесс перехода рабочих с промышленных предприятий в сельхозкооперативы. По данным ЦСУ ВНР число лиц, занятых в кооперативах по найму физическим трудом несельскохозяйственного характера, с начала 70-х годов росло последовательно: 1973 г. — 86 тыс., 1980 — 103,5, в начале 1985 г. — 181,5 тыс. человек [8, 1985, 23 III; 13; 14]. Правда, не только эти факторы, но и демографические причины вызвали некоторое сокращение численности рабочего класса.

Партийные документы последних лет и, прежде всего, «Предварительный отчет ЦК ВСРП делегатам XIII съезда партии» (1985), позволяют определить, что уменьшение численности рабочих за 1980—1985 гг. на 195,4 тыс. человек произошло, главным образом, на счет малоквалифицированных групп [24].

Приведенные данные говорят и о том, что характерный для 60—70-х годов процесс сокращения крестьянства с конца 70-х годов остановился, и в начале нового десятилетия наступило временное увеличение его численности. Общее число людей, занятых в сельскохозяйственных кооперативах и причисляемых официально к крестьянству, согласно данным статистики к середине 80-х годов несколько увеличилось. При этом необходимо учитывать, что одновременно в кооперативах последовательно сокращалось число лиц, занимающихся трудом сельскохозяйственного профиля (за 1980—1985 гг. на 60 тыс. человек), тогда как постоянно и стремительно шло увеличение числа лиц, занятых промышленной, ремонтной, строительной, торговой и прочими видами несельскохозяйственной деятельности (за 1981—1985 гг. на 78 тыс. человек). Эта последняя категория работников сельскохозяйственных кооперативов в 1980 г. составляла 41%, а в начале 1985 г. — 49% всех занятых здесь трудящихся [24].

Что же касается прослойки трудящихся мелкого частного сектора (еди-

ноличных крестьян, мелких ремесленников и торговцев), то их доля в составе самодеятельного населения за 80-е годы также увеличилась. Публикуемые в печати материалы позволяют определить, что для социально-классовой структуры ВНР 1980—1985 гг. характерны следующие изменения: рабочий класс в 1985 г. составлял 55,5% активного самодеятельного населения страны (2731 тыс. человек), кооперированное крестьянство — 13,8%, единоличное крестьянство — 1,2%, интеллигенция и служащие — 26,5%, мелкие ремесленники и торговцы — 3% [8, 1985, 23 III]. При этом следует иметь в виду, что в 80-е годы продолжался интенсивный процесс социального сближения рабочего класса и крестьянства. В связи с тем, что внутренние социальные различия между отдельными группами и прослойками стали более значительными, чем сами различия между двумя классами в целом, настала необходимость детального исследования внутрикласовых изменений, процесса усложнения внутрикласовых структур наряду с целостным изучением каждого из них.

Приведенные материалы подтверждают также, что социально-классовая структура ВНР, представляющая собой основу основ социального организма страны, находится в постоянном движении. И хотя (как это было показано), период стремительных, крупных и массовых социальных перемещений в структуре общества уже закончился, небольшие количественные, но в основном качественные сдвиги в ней продолжают и сегодня. Двигателями этих преобразований, как и прежде, являются экономика, изменения в ее структуре, в профессиональной, общеобразовательной подготовке рабочей силы, развитие культуры, научно-технического прогресса, социальная политика и другие факторы, которые оказывают преобразующее воздействие на все общество, на социальную жизнь. Вместе с тем основной тенденцией современного социального развития по-прежнему остается сближение классов, не исключающее, а наоборот предполагающее постоянное действие и дифференцирующих факторов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 186.
2. Bálint J. Társadalmi rétegződés és jövedelmek. Budapest, 1978.
3. Andorka R. Társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest, 1982.
4. Венгерский статистический справочник, 1970. Будапешт, 1970, с. 259; Венгерский статистический справочник, 1972. Будапешт, 1972, с. 230; Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 1981. Budapest, 1981, 263. old.
5. Munkügyi Tanulmányok. Budapest, 1978, 1. sz.
6. Венгрия в 1986 г. ЦСУ ВНР (Будапешт), 1986, с. 7.
7. Andorka R., Illés J. A nemzedékek közötti társadalmi mobilitás változásai.— Statisztikai Szemle, 1976, 11. sz.
8. Népszabadság.
9. Kulcsár K. A mai magyar társadalom. Budapest, 1980, 154. old.
10. Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 1983. Budapest, 1984.
11. Желицки Б. И. Рабочий класс социалистической Венгрии 60—70-х годов.— Вопросы истории, 1982, № 9, с. 7—18.
12. Kolosi T. Társadalomtudományi Közlemények, 1977, 1 sz.
13. Statisztikai Évkönyv, 1975. Budapest, 1976, 31—32. old.
14. 1980. évi népszámlálás. Részletes adatok a 2%-os minta alapján. Budapest, 1980, 240—241. old.
15. Az 1973. évi mikrocenzus adatai. Budapest, 1974, 110. old.
16. A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusa. Budapest, 1985, 23. old.
17. A társadalom osztályszerkezete és rétegződése. Budapest, 1975, 15. old.; 1980. évi népszámlálás. Részletes adatok. Budapest, 1980, 50—51. old.
18. Желицки Б. И. Рабочий класс социалистической Венгрии 60-х и первой половины 70-х годов (социальное развитие). М., 1984, с. 220.
19. SzOT Irattár. Elnökségi iratok, 1969. szeptember 29, 17. old.
20. A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusának jegyzőkönyve. Budapest, 1975, 86—97. old.; Andorka R. Az értelmiség életkörülményei és életmódja.— Élet és Tudomány, 1982, 26. sz., 804. old.
21. Szabó J. A fejlett szocialista társadalom építésének elvi kérdései.— Társadalomtudományi Közlemények, 1978, 2—3. sz., 17. old.
22. Kovács F. A magyar munkásosztály helyzete, rétegződése.— Társadalmi Szemle, 1985, 8—9. sz., 25—26. old.
23. Nyitrai F. A lakosság jövedelmi rétegződése az elmúlt két évtizedben.— Társadalmi Szemle, 1982, 2. sz., 17. old.
24. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának jelentése a XIII. kongresszus küldötteinek. Rövidített szöveg.— Népszabadság. Melléklet, 1985. 23 III, 11—12. old.



ЛОПАТНИК С. (ПНР)

ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПЕРИОД ШЕСТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Мы рассматриваем названную проблему в очень сжатой форме, представив лишь некоторые ее аспекты.

Экономическое сотрудничество с Советским Союзом в период реализации шестилетнего плана имело для Польши особое значение. Почти 200 промышленных предприятий строились благодаря поставкам капитального оборудования из СССР и его технической помощи. Процесс индустриализации страны протекал в неблагоприятной международной обстановке, в период политики «холодной войны». Соединенные Штаты Америки, а также другие капиталистические страны наложили эмбарго на поставки в Польшу машин и промышленного оборудования, пытались таким образом углубить трудности и привести к краху программу индустриализации. Были расторгнуты уже заключенные договоры и чинились препятствия для заключения новых, обоюдовыгодных, как для социалистического государства, так и для его капиталистических контрагентов. На развитие экономических отношений с капиталистическими странами оказывала влияние их политика в отношении социалистических стран, в том числе и Польши. Польша могла приобретать основное промышленное оборудование лишь в социалистических странах, главным образом — в СССР. Это было время послевоенного восстановления советской экономики, в перспективных планах предусматривалось строительство в быстром темпе новых, зачастую гигантских предприятий. И в этой ситуации восстановления и развития собственного экономического потенциала Советский Союз оказал Польше помощь в реализации ее смелых планов индустриализации.

Главным принципом шестилетнего плана было прежде всего развитие производительных сил, и в первую очередь производство средств производства. Стоимость социалистической промышленности к 1955 г. должна была превзойти в 2—5 раз уровень 1949 г. и в четыре раза — уровень предвоенного 1938 г. План предусматривал опережающий рост производства орудий и средств производства (группы «А»), по сравнению с производством предметов потребления (группы «Б»). В 1955 г. доля группы «А» в общем производстве должна была составить 63,5%. Одним из наиболее важных элементов индустриализации страны было развитие машиностроительной промышленности, в том числе выпуск машин, ранее не производившихся, таких, как многооперационные станки, турбины, котлы высокого давления. Было запланировано четырехкратное увеличение выпуска тракторов, а также ввод в действие и развитие производства новых типов сельскохозяйственных машин — комбайнов, тракторных сенокосилок, сноповязалок и других.

Предусматривалось значительное увеличение производства грузовых автомашин (в том числе строительство нового завода в Люблине), а также завода по производству легковых автомобилей в Варшаве. В 1955 г. производство грузовых автомобилей грузоподъемностью 3,5 т должно было достигнуть 13 тыс. штук, грузоподъемностью 2,5 т — 12 тыс. штук. Намечалось значительное увеличение производства морских судов, а также железнодорожного подвижного состава.

В основах шестилетнего плана большое значение придавалось развитию металлургии. Предусматривалось достичь производства 4,6 млн т стали, т. е. в 3,2 раза больше, чем в 1938 г. В связи с ростом потребности в цветных металлах, особенно в алюминии, планировалось строительство первого в Польше алюминиевого завода в Скавине, а также в Болеславце.

Динамическое развитие промышленности увеличивало потребности в энергетических мощностях, источником которых в то время был в основном каменный уголь. Поэтому намечалось строительство новых теплоэлектростанций, а также промышленных теплоэлектроцентралей, крупной электростанции в Конине, приспособленной для сжигания бурого угля. Развитие энергетических сил вызывало необходимость увеличения добычи каменного угля.

План нацеливал на создание крупной химической промышленности, развитие уже существующих отраслей, а также производство прежде не изготовлявшейся продукции, такой, как пластмассы, органические полуфабрикаты, краски, лаки, фармакологические средства. Предусматривалось удвоение выпуска цемента, а также производство новых строительных материалов¹.

После окончания второй мировой войны Советский Союз приступил к восстановлению и развитию своего экономического потенциала. Четвертый 5-летний план был выполнен за 4 года и 3 месяца. До конца 1950 г. общий валовый объем промышленного производства превысил уровень 1940 г. на 73%, в том числе производство средств производства увеличилось на 105%, а производство средств потребления — на 23% [1].

В 1950 г. было произведено стали — 27,3 млн т, каменного угля — 185,2, нефти — 37,9 млн т, электроэнергии — 91,2 млрд *квт/час*, тракторов — 240,9 тыс. штук, цемента — 10 194,0 тыс. т, хлопковых тканей — 3 899,0 млн м, шерстяных тканей — 155,2 млн м, кожаной обуви — 203,4 млн пар, сахара — 2 523,0 тыс. т.

Таким образом, исходная база для заданий пятого пятилетнего плана на 1951—1955 гг. в области тяжелой промышленности была сильной. Производство же основных видов продукции легкой промышленности, предназначенной для обеспечения рынка, только по некоторым показателям незначительно превышало предвоенный уровень.

План на 1951—1955 гг. предусматривал увеличение уровня промышленного производства в 1955 г. почти на 70% по сравнению с 1950 г. В конце пятой пятилетки общее промышленное производство должно было втроекратно превысить уровень производства 1940 г. Годовой темп роста промышленного производства колебался в границах 12%. Выплавка металла должна была вырасти на 76%, стали — на 62, проката — на 64% [2, с. 87—88].

Помощь Советского Союза в инвестиционных поставках машин и оборудования гарантировалась двусторонними польско-советскими договорами. Первый договор о поставках в Польшу промышленного оборудования в кредит [3, с. 146—150] был заключен 26 января 1948 г. Советский Союз обязался последовательно поставлять Польшу в 1948—1956 гг.

¹ Данные взяты из материалов V Пленума ЦК ПОРП (16.VII 1950), а также II съезда ПОРП (март 1954 г.). Шестилетний план корректировался. Так, после начала войны в Корею в 1950 г. большее внимание было обращено на развитие военной промышленности. Многие заводы, построенные с целью увеличения оборонного потенциала, в последующие годы перестроились на рыночное производство. На II съезде ПОРП была произведена новая верификация принципов плана на 1954—1955 гг., предписывающая увеличение производства сельскохозяйственных машин, легкой и пищевой промышленности.

энергетическое оборудование, оборудование для химических заводов (по производству азотных удобрений, соды, карбида и пр.), металлургической и текстильной промышленности и других, в частности для запланированного строительства крупнейшего в Польше металлургического завода, а также — материалов для восстановления городов и портов. Одновременно советское правительство обязалось оказать Польше техническую помощь по его установке, монтажу и вводу в действие.

Советское правительство предоставило Польше кредит в размере 450 млн американских долларов на оплату поставленного оборудования и связанных с его поставками затрат, технической документации, проектов и патентов, работ по его установке и монтажу. Кредит, предоставляемый из 3%, должен был быть выплачен поставками из Польши в СССР цинка, листового цинка, кадмия, каустической и кальцинированной соды, труб для нефтяной промышленности, проката, паровозов и вагонов, а также цемента и кокса². 30 мая 1949 г. был подписан дополнительный протокол, на основании которого Польша получила дополнительное оборудование для коксохимической и текстильной промышленности, предприятий по обогащению угля и других объектов [4, с. 151]. В сентябре 1949 г. правительства Польши и СССР подписали договор о предоставлении Польше кредита в размере 79,5 млн руб. (из 2% годовых) на приобретение в СССР такого сырья, как медь, никель, натуральный и синтетический каучук, ферросплавы, асбест, алюминий, автомобильные и тракторные покрышки, растительные масла, чай [3, с. 162—164]. Поставки товаров были предусмотрены на 1949—1950 гг. Кредит должен был быть выплачен в течение трех лет, начиная с 1 января 1951 г., поставками из Польши угля, кальцинированной и каустической соды, а также цинка.

29 июня 1950 г. обе страны подписали в Москве очередной договор о поставках в Польшу в кредит промышленного оборудования в 1951—1958 гг. Имелось в виду оснащение и техническая документация для 30 ключевых предприятий машиностроительной, химической, энергетической промышленности, оборудование заводов и шахт, а также предприятий по производству стройматериалов. СССР обязывался предоставить Польше техническую помощь в строительстве промышленных объектов. За половину стоимости поставленного оборудования и за стоимость технических работ, связанных с его поставками в Польшу, следовало рассчитываться в форме торговых соглашений. Для оплаты остальных 50% правительство СССР предоставило Польше кредит в размере до 400 млн руб. из 2% годовых со сроком выплаты в течение 5 лет. Погашать кредит и проценты по нему польская сторона обязалась поставками морских судов, цинка, кадмия, проката, труб для нефтяной промышленности, паровозов и вагонов [3, с. 164—168]. Долгосрочный инвестиционный договор от июня 1950 г. был увеличен в несколько раз и расширен дополнительными соглашениями о поставках комплектного оборудования и технической помощи³. Дополнительные договоры и соглашения были обусловлены изменениями, происходившими в польской экономике, которые нельзя было предвидеть в момент подписания долгосрочного договора, а также возросшими потребностями польской экономики в машинах и оборудовании.

Одной из главных слабостей польской экономики до второй мировой войны было низкое производство стали, едва 1,4 млн т, которое не могло удовлетворить все нужды. С помощью СССР в период шестилетнего плана в Польше был построен ряд крупных современных предприятий в основ-

² Выплата кредита, предоставленного на пять лет, распределялась следующим образом: в первый год — 10%, во второй — 15, в третий — 20, в четвертый — 25, в пятый — 30% суммы долга. Цены на промышленное оборудование, поставляемое из СССР, и на товары, вывозимые Польшей в СССР, должны были устанавливаться на уровне мировых цен [3, с. 148—149].

³ Дополнительные протоколы, развивавшие договоры, заключенные 26 января 1948 г. и 29 июня 1950 г., о поставках в Польшу инвестиционного оборудования в кредит, были подписаны 7 августа 1952 г. и 28 августа 1953 г. Обменное письмо от 27 февраля 1956 г. Договор о технической помощи при расширении металлургического комбината Нова Гута от 11 марта 1956 г. [5, с. 44—45].

ных отраслях производства, в частности металлургический комбинат Нова Гута им. Ленина под Краковом, который после расширения, в конце 60-х годов, выпускал уже более 4 млн *t* стали. Его продукция экспортируется в несколько десятков стран. До 1970 г. он давал народному хозяйству 15 млрд злотых годовой прибыли [6].

В начале 50-х годов, опираясь на проект и комплектные поставки оборудования из Советского Союза, было начато строительство металлургического завода в Варшаве, который дает народному хозяйству более 400 тыс. *t* высокосортовой стали. С помощью советской документации и поставок были модернизированы и расширены многие старые, уже малопродуктивные заводы, в том числе металлургический комбинат им. Болеслава Берута в Ченстохове, частично оснащены советским оборудованием металлургические заводы «Бобрек» и «Костюшко». Строительство новых металлургических заводов и модернизация старых позволили в 1955 г. выплавить 4,4 млн *t* стали, т. е. почти в три раза больше того, что получала польская промышленность до второй мировой войны [5, с. 55—57]. Увеличение производства стали уменьшило диспропорцию между потребностями машиностроения и строительства и производственной мощностью польских металлургических заводов. Согласно принципам индустриализации особенно большое значение придавалось инвестициям в металлургии. Однако, несмотря на большие затраты на эту отрасль в первые годы реализации шестилетнего плана, наибольший прирост производства был не в металлургии, а в электромашиностроительной промышленности [7, с. 183]. Значительная часть новых электромашиностроительных заводов, в том числе легковых автомобилей в Жерани и грузовых автомобилей в Люблине, была построена благодаря полным и частичным поставкам советского оборудования. Оба названных завода первые тысячи автомобилей произвели еще в период реализации шестилетнего плана. В последующие годы продукция этих предприятий сыграла важную роль в удовлетворении потребностей внутреннего рынка и в развитии экспорта автомобилей. С помощью советских проектов и поставок оборудования были построены заводы по производству сельскохозяйственных машин в Плоцке и Староленце, предприятия «Дольмель» во Вроцлаве, предприятия по производству котлов высокого давления в Рацибуже, турбинный завод в Эльблонге, подшипниковый завод в Красьнике, предприятия в Понятовой, Мельце, Жешове и многие др. [7, с. 183—184; 4, с. 158].

Развивавшаяся промышленность требовала все больших энергетических мощностей. Шестилетний план предусматривал значительное их увеличение. С помощью СССР в этот период были построены электростанция Явожно II, тепловая электростанция в Скавине, а также электростанция на Жерани в Варшаве.

Советская помощь сыграла большую роль в строительстве и развитии химических предприятий в Кепдзежице, Освенциме, а также в Гливицах («Царвохем») [7, с. 183—184; 4, с. 158].

В связи с развитием промышленного и жилищного строительства возникла необходимость в интенсификации производства строительных материалов. И здесь особенно большое значение имела помощь Советского Союза. Был построен цементный завод Грошовицы и еще несколько цементных заводов в Опольском и других воеводствах. Значительная часть оборудования для введенной в действие в 1952 г. одной из крупнейших строек шестилетки — цементного завода в Вежбице была закуплена в СССР. На первом этапе продукция этого завода составляла 300 тыс. *t* цемента в год, тогда как после войны годовое производство цемента на всех цементных заводах Польши составляло лишь 500 тыс. *t* [8]. Общее производство цемента в стране увеличилось с 2,3 млн *t* в 1949 г. до 4,0 млн *t* в 1956 г. [9, 1957, с. 69].

СССР оказал большую помощь Польше в восстановлении объектов текстильной промышленности на воссоединенных землях. Советскими машинами были оснащены текстильные предприятия в Жарах, Беляве, Пешицах. СССР поставил комплектное оборудование для прядильных

фабрик в Замброве и Фастах, а также машины для модернизации предприятий в Жирардове [5, с. 69]. На основе договора, заключенного в январе 1948 г., Польша получила от Советского Союза до конца 1954 г. пять полностью оснащенных прядильных фабрик общей мощностью 300 тыс. оборудованных веретен [10]. Производство хлопчатобумажных тканей в Польше возросло с 406 млн м в 1949 г. до 568 млн м в 1956 г., шерстяных тканей с 50 млн м до 76 млн м, трикотажных изделий с 5,3 млн штук до 11,6 млн штук [9, 1957, с. 70].

Прирост производства в текстильной промышленности не был столь впечатляющ, как в других отраслях, но следует учитывать традиции ее развития в Польше, а также тот факт, что ее потенциал был вполне восстановлен уже в период реализации трехлетнего плана. Дальнейшее ее развитие в период шестилетнего плана и увеличение производства позволяло увеличить экспорт изделий текстильной промышленности.

Значительными были советские инвестиции в производство цветных металлов: строительство завода окиси цинка в Болеславце, первого в Польше алюминиевого завода в Скавине, а также расширение завода по производству меди в Легнице [7, с. 183].

Поскольку в период «холодной войны» капиталистические страны ввели запрет продажи в социалистические страны не только машин и оборудования, но также и достижений технической мысли, лицензий и т. п., Польша могла рассчитывать прежде всего на Советский Союз, который в это время обладал опытными инженерно-техническими кадрами. Без научно-технической помощи СССР Польша не могла бы реализовать смелые положения шестилетнего плана.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Польшей и СССР (5 марта 1947 г.) было первым двусторонним договором такого типа, заключенным между социалистическими странами. Оно подписано на срок 5 лет и подлежало автоматической пролонгации на следующее пятилетие, действовало на протяжении всего периода реализации шестилетнего плана и с небольшими изменениями ⁴ сохранялось до 1964 г. [5, с. 187—188]. Им предусматривались взаимопомощь и поддержка в области научно-технического сотрудничества, взаимный обмен информацией и опытом в области промышленного производства. Для реализации соглашения была создана Польско-советская комиссия ⁵. В дополнение к этому 8 августа 1950 г. было заключено польско-советское соглашение о делегировании советских специалистов на работу в польские учреждения, организации и предприятия, а также об условиях их вознаграждения [12, с. 190—192].

В результате обоих соглашений развивалось сотрудничество в области науки и техники, в основе которого лежали социалистические принципы помощи и партнерства без какой бы то ни было политической зависимости и ограничений. Техническая документация передавалась бесплатно, польская сторона оплачивала лишь стоимость ее изготовления (выполнение копий, оттисков, переводов и т. п.), никакие лицензионные платежи не взимались. Также бесплатно предоставлялась возможность специалистам из другой страны знакомиться с технологическими процессами, конструкциями машин, научно-исследовательскими работами и т. п. Только на XXX заседании исполнительного комитета СЭВ эти принципы были изменены. С целью создания материальной заинтересованности в увеличении эффективности исследований и развитии сложных и дорогостоящих исследовательских работ стала допускаться возможность взимания платы за лицензии и передаваемые результаты научных разработок ⁶.

Советские ученые и советские учебные заведения сыграли значитель-

⁴ По протоколу от 12 июля 1961 г., действие соглашения от 5 марта 1947 г. распространялось также на строительство, транспорт, связь, сельское хозяйство и др.

⁵ Главой польской части Польско-советской комиссии по научно-техническому сотрудничеству являлся Э. Шир, заместитель министра промышленности и торговли, главой советской части был А. Михайлов, председатель комитета по изобретениям и открытиям при Совете Министров СССР [11, с. 188—190].

⁶ До 1969 г. 60% технической документации Польша получила из СССР, что составляло экономию около 1 млрд злотых [13].

ную роль в формировании польских специалистов. 28 мая 1948 г. был заключен договор между польским и советским правительствами по вопросу обучения польских граждан в высших гражданских заведениях Советского Союза [11, с. 322—324]. Сначала в 1948 г. договор предусматривал отправку в СССР группы молодежи из 30 человек. Позднее был установлен лимит отдельно на каждый год с сохранением принципов, предусмотренных в договоре от 28 мая 1948 г. Он устанавливал возмещение расходов польской стороной в размере 50% фактических расходов на обучение, включая в это расходы на стипендии. В 1950—1955 гг. на учебу в СССР выехали 1874 человека. Коэффициент отсева обучавшихся там поляков составил 8%, т. е. учебу закончили 1720 человек. В 1950—1956 гг. окончили аспирантуру и получили степень кандидатов наук 235 человек [14]. В польских учебных заведениях преподавали советские профессора и доценты. Помощь Советского Союза в обучении молодых поляков имела особое значение в первые послевоенные годы, когда большинство польских учебных заведений, лабораторий, библиотек и архивов было разрушено, а значительная часть кадров уничтожена оккупантами.

В первые годы после освобождения большинство торговых оборотов Польши с зарубежными странами приходилось на долю Советского Союза. В 1945 г. — 91,8%, в 1946 г. — 58,4, в 1947 г. — 26,5, в 1948 г. — 19,4% [15].

Часть поставок из Советского Союза была реализована в рамках первых кредитов. По мере нормализации экономических отношений в послевоенном мире и развития польского производственного потенциала, из года в год росло число партнеров по внешней торговле. В 1947 г. Польша поддерживала торговые отношения уже с 33 странами, а в первый год шестилетнего плана с 80 странами [16, с. 28—29].

Торговые обороты Польши с Советским Союзом в период реализации шестилетнего плана почти достигли уровня ее оборотов со всеми капиталистическими странами. Значительный удельный вес занимала торговля с остальными социалистическими странами: ГДР вышла на второе место, Чехословакия — на третье. Импорт в Польшу машин и оборудования из социалистических стран в этот период составил 77%, сырья и материалов — 58%. Одновременно в эти страны поступило соответственно 98 и 45% польского экспорта этих же товаров. В принципе, в торговле с социалистическими странами существовало определенное равновесие во всех группах товаров, исключая продукты сельского хозяйства. Совершенно по-иному выглядела структура оборотов с европейскими капиталистическими странами. За машины и оборудование Польша платила главным образом экспортом в эти страны продукции сельского хозяйства и сырья [16, с. 311—313].

Торговые обороты с Советским Союзом складывались на основе договора от 26 января 1948 г. о поставках в Польшу промышленного оборудования в кредит [3, с. 146—150], договора от 5 сентября 1949 г. по вопросу о предоставлении Польше товарного кредита [4, с. 162—164], договора от 29 июня 1950 г. о поставках в Польшу промышленного оборудования [3, с. 164—168], а также договора от 29 июня 1959 г. о взаимных поставках товаров в 1953—1958 гг. [3, с. 168—171]. Этот последний договор регулировал ряд торговых проблем в последние три года шестилетнего плана, т. е. в 1953—1955 г., обязывал каждый год устанавливать путем правительственного соглашения точный контингент товаров, в соответствии с которым торговые организации обеих стран могли заключать между собой контракты на поставки товаров. В соответствии с договором ежегодно должны были согласовываться цены (на основе мировых) на соответствующие товары с прибавкой половины стоимости доставки. Договор регулировал также сотрудничество Польского национального банка с Государственным банком СССР.

Товарооборот Польши с СССР представлен в табл. 1 [9, 1959, 252; 17, с. 130, 152, 162].

В 1953 г. Польша импортировала из СССР 1890 тыс. *т* железной руды, а в 1955 г. — уже 3053 тыс. *т*, соответственно импорт марганцевой руды

Таблица 1

Год	Импорт		Экспорт	
	в млн злотых	%	в млн злотых	%
1949	474,4	18,8	481,3	19,4
1950	769,5	28,8	616,3	24,3
1951	965,0	26,0	722,0	23,7
1952	1100,0	31,8	989,0	31,9
1953	1053,6	34,0	1098,1	33,0
1954	1347,0	37,3	1316,0	37,9
1955	1254,3	33,7	1122,0	30,5

Таблица 2

Год	Товарооборот СССР с Польшей	
	млн руб.	% от общего товарооборота СССР со всеми странами
1950	406,3	13,9
1951	517,3	13,4
1952	641,9	13,4
1953	626,6	12,1
1954	676,3	11,7
1955	646,6	11,1

возрос с 196 тыс. *m* до 325 тыс *m* [9, 1959, с. 255]. Товарооборот СССР с Польшей отражен в табл. 2 [17, с. 130, 152, 162, 168, 176, 186].

Структура польского экспорта в СССР в период реализации шестилетнего плана по ассортименту почти не изменилась. Главным образом экспортировали каменный уголь (7,8—8,9 млн *m*), сахар (160—185 тыс. *m*), шерстяные и хлопчатобумажные ткани в большом количестве, паровозы, пассажирские и товарные вагоны, суда, мебель, а также другие товары. Возрастал экспорт машин и оборудования, достигнув в 1955 г. 66,9 млн руб., что составляло более 10% всего польского импорта в СССР.

Структура импорта товаров из СССР в Польшу изменилась немного. Главную позицию составляли машины и оборудование, стоимость которых достигла в 1953 г. 121 млн руб. из общей суммы 258 млн руб. польского импорта из СССР. Следующее место занимало сырье: железная и марганцевая руды, нефть, хлопок, медь, концентраты цинка, металлургические изделия, а также пшеница, рожь и другие товары [9, 1959, с. 255—256; 17, с. 130, 152, 162, 168, 176, 186].

Динамика роста торговых оборотов в последние годы реализации шестилетнего плана была минимальной, и даже доля Польши в торговле СССР систематически уменьшалась с 13,9% в 1950 г. до 11,1% в 1955 г.

Торговый баланс Польши с СССР в этот период был отрицательным для Польши и составлял 626 млн руб. Однако фактически задолженность была большей, поскольку приближались расчеты по соглашениям о делегировании в Польшу советских специалистов и договорам об обучении польских граждан в высших учебных заведениях СССР, по договорам о порядке компенсации расходов на содержание и обучение солдат польской армии в военных учебных заведениях СССР и др. Общая задолженность Польши СССР в 1956 г. составляла около 2 млрд валютных злотых. В результате переговоров партийно-правительственной делегации ПНР с советскими руководителями в Москве в ноябре 1956 г. были ликвидированы некоторые аномалии в экономических отношениях. В частности, признавалось, что по договору от 16 августа 1945 г. Польша до 1954 г. поставляла в СССР уголь по заниженным ценам. Было достигнуто также соглашение по вопросу урегулирования финансовых расчетов, касающихся железнодорожных перевозок, неторговых платежей и др. При окончательном подсчете задолженность Польши Советскому Союзу на 1 ноября 1956 г. была аннулирована [5, с. 46—49]. Шестилетний план интенсивной индустрии

стриализации Польши был реализован без задолженностей, несмотря на рестрикции со стороны капиталистических стран Запада, главным образом США. В его претворении в жизнь большую роль сыграла помощь со стороны Советского Союза.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ciepielewski J.* Historia gospodarcza Związku Radzieckiego. Warszawa, 1977, s. 396.
2. *Saburaw M. Z.* XIX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.— Nowe Dni, 1952, numer specjalny.
3. Polska Ludcwa — Związek Radziecki. 1944—1974. Zbiór dokumentów i materiałów. Warszawa, 1974.
4. *Ptaszek J.* Pomoc ZSRR w rozwoju gospodarczym Polski Ludowej.— In: Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały, t. X. Warszawa, 1973.
5. *Ptaszek J.* Polska — ZSRR. Gospodarka, współpraca. Warszawa, 1972.
6. *Jaroszewicz P.* Nauka Lenina — drogowskazem naszego rozwoju. — Handel zagraniczny, 1970, wyd. specjalne.
7. *Jeżewski A.* Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944—1968. Warszawa, 1971.
8. *Grzymek J.* O przyjaźni i biedzie. Życie Literackie, 1977, 6 XI, s. 6.
9. Rosznik Statystyczny. Warszawa.
10. *Wyszomirska-Kuźmińska O.* Pomoc ZSRR e okresie odbudowy i uprzemysłowienia Polski.— In: Osiągnięcia socjalistycznej industrializacji ZSRR i Polski Ludowej. Warszawa, 1975, s. 239.
11. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. IX. Warszawa, 1974.
12. *Basiński E., Walichnowski T.* Stosunki polsko-radzieckie w latach 1945—1972.— In: Dokumenty i materiały. Warszawa, 1974.
13. *Kaczmarek J.* 25 lat polsko-radzieckiej współpracy naukowo-rech niczej. Warszawa, 1969, s. 11.
14. *Lopatniuk S.* Absolwenci uczelni radzieckich. Wychowanie, 1967, № 2, s. 16.
15. Rosznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 1971. Warszawa, 1971.
16. *Bodnar A.* Polska — ZSRR. Współpraca gospodarcza. Warszawa, 1967.
17. *Basiński E.* Polska — ZSRR. Kronika faktów i wydarzeń 1944—1971. Warszawa, 1972.



КИРИЛИНА Л. А.

ИСТОРИОГРАФИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В СЛОВЕНСКИХ ЗЕМЛЯХ В 1848 — 1849 ГОДАХ

Революция 1848 г. явилась важным этапом в истории многих европейских народов. Для славянских народов Австрийской империи она стала условным рубежом, отделившим феодальную формацию от капиталистической. Были уничтожены феодальные порядки, капиталистическое развитие Австрии и составлявших ее земель пошло более быстрыми темпами.

Революция ознаменовала собой качественно новую ступень в развитии национального движения славянских народов — переход некоторых из них от просветительства к политической борьбе. Хотя она не решила национального вопроса, однако дала импульс дальнейшему развитию национального самосознания славянских народов Австрии, расширению и углублению их борьбы за национальную самостоятельность.

Словения была периферией Австрийской империи. Сюда доносились лишь отголоски мощного революционного натиска, погрязшего страну. Однако, несмотря на то, что революционные события здесь протекали в сглаженной форме, они определили основные пути общественно-политического и экономического развития словенских земель на много десятилетий вперед. Именно поэтому исследование событий революции 1848 г. имеет ключевое значение для изучения истории Словении в новое время.

Общие проблемы австрийской революции рассматривались в трудах многих советских и зарубежных историков. Применяя марксистско-ленинскую методологию, советские историки выявили основные социальные и национальные задачи, стоявшие перед австрийской революцией, ее основные черты и историческое значение. Революцию они характеризовали как буржуазно-демократическую, а для угнетенных народов империи и как национальную [1; 2; 3]. Однако ими почти не затрагивалась проблематика революции 1848 г. в словенских землях. Лишь И. В. Чуркина в ряде работ касалась некоторых общих аспектов этой темы [4; 5]. Ей принадлежит также первое исследование взглядов и деятельности в период революции одного из крупнейших словенских национальных деятелей — каринтийского священника М. Маяра-Зильского [6; 7]. Монографических трудов по истории революционного движения в словенских землях в нашей историографии еще нет. В коллективных работах содержатся очерки словенской истории этого периода, однако, как фактический материал, так и содержащиеся в них выводы основаны на исследованиях югославских коллег.

Словенская историография революционного движения 1848 г. достаточно обширна. Эта тема получила широкое освещение в трудах словенских буржуазных историков, прежде всего Й. Мала [8] и Й. Апиха [9], которые создали базу для дальнейших исследований, подняв огромное количество архивов и подробнейшим образом изучив события этого периода. На богатый материал, собранный буржуазными учеными, опираются в своей работе практически все современные исследователи. Од-

нако, несмотря на разнообразную тематику и насыщенность фактами, труды этих ученых не содержат в себе каких-либо серьезных выводов и обобщений, носят описательный характер. Изложенные факты трактуются буржуазными историками с либеральных прогабсбургских позиций. Социальные и экономические вопросы они освещают в значительно меньшей степени, чем национальные. Австрославистской политике лидеров словенского национального движения они дают одностороннюю (исключительно положительную) оценку, о народных движениях пишут неодобрительно (хотя страданиям народа сочувствуют), преувеличивают роль буржуазии в революции.

Особого внимания заслуживает книга Й. Апиха, крупнейшего исследователя событий 1848 г. в Словении, — «Словенцы и 1848 год» [9]. Написана она почти сто лет назад, однако по богатству фактического материала и широте охвата темы эта монография до сих пор осталась непревзойденной. Она является своего рода энциклопедией революционного движения в словенских землях. Наибольший интерес Апих проявлял к политической жизни словенцев в 1848 г., к развитию их национального самосознания. В монографии подробнейшим образом освещены деятельность первых словенских политических обществ, газет, заседания дежельных сборов (ландтагов), участие словенских депутатов в работе австрийского рейхстага и т. д. Апих был патриотом своей родины. Он считал, что историк должен выступать в интересах своего народа, несмотря на то, что может быть пристрастным [9, с. VI]. Его взгляды очень похожи на идеи словенских либералов 1848 г. Он не мыслил себе существования словенцев без Австрии, а Австрии — без императора, стремился к образованию Австрийской федерации и мечтал об Объединенной Словении. В целом Апих стоял на австрославистских позициях. Например, описывая расстановку сил в Венском рейхстаге, Апих с полным одобрением отзывался о программе чешских депутатов [9, с. 180], рассматривал Октябрьское восстание в Вене как «бунт против Австрии и славян» [9, с. 201]. Словенских депутатов он разделял лишь по степени их национального самосознания, не учитывая их взглядов по социально-экономическим вопросам.

Й. Мал, буржуазный историк-позитивист начала XX в., считал революцию 1848 г. центральным событием XIX в. в Словении. Он указывал на неоднородность словенского национального движения в период революции, выделяя в нем либеральное и консервативное направления и даже отмечая наличие демократов, сторонников республики [8, с. 644]. Слабость национального движения Мал справедливо усматривал в том, что национальная интеллигенция не смогла стать политическим вождем народа, но не нашел действительных причин этого явления. Крестьянскому движению Мал уделял больше внимания, чем Апих. Крестьянство он считал «ядром словенского народа» [8, с. 708]. Признавая обоснованность крестьянских волнений, он все же выступал сторонником буржуазных, легальных форм борьбы. В целом важность решения аграрного вопроса для революции историк недооценил. В книге Мала собран большой фактический материал, хотя, по сравнению с трудом Апиха, здесь использовано меньше новых источников.

Ценные данные о взглядах и деятельности лидера словенских консерваторов в 1848 г. Я. Блейвейса, о политических направлениях прессы того периода содержатся в брошюрах Д. Лончара, видного представителя правого крыла словенской социал-демократии [10; 11; 12]. Лончар преувеличивал вклад, внесенный Я. Блейвейсом в дело словенского национального развития, идеализировал его. Программу Объединенной Словении он охарактеризовал как «минимальную», так как она дала бы словенскому народу лишь национально-культурную автономию. «Максимальной» программой, по мнению Лончара, было объединение с хорватами и сербами, что позволило бы словенцам «стать нацией в политическом смысле слова» [10, с. 19]. Верно заметив наличие идеи югославизма в национальной программе словенцев, Лончар упустил из виду то, что она предусматривала сохранение национальной и политической индивидуальности каждого из народов, а не являлась программой «политического

иллиризма». В целом проблематику 1848 г. Лончар подробно не рассматривал, серьезных выводов и обобщений не сделал.

Некоторые интересные факты по революционному движению 1848 г. в Словении привел в своей монографии, посвященной в основном более позднему периоду словенской истории, И. Приятель [13]. Он впервые дал периодизацию словенского национального возрождения, справедливо указывая, что политическое возрождение словенцев началось только в 1848 г.

Начальный период марксистской историографии революционных событий 1848 г. в Словении характеризуется известной схематичностью. Если буржуазные историки, накапливая факты, избегали делать широкие выводы, то историки-марксисты, стремясь осмыслить историю своей страны на базе марксистской теории, грешили подчас некоторым догматизмом, источники изучались ими довольно поверхностно, привлекаясь лишь в качестве подтверждения того или иного вывода. Несмотря на это, первые марксисты совершили настоящий переворот в исследовании истории, дав ей новую методологию.

Первым в югославской историографии дал марксистскую оценку событий революции 1848 г. в словенских землях Э. Кардель, один из видных государственных деятелей, теоретиков социализма в Югославии.

Основные проблемы словенского национального движения нашли отражение в одной из его наиболее значительных работ «Развитие словенского национального вопроса», написанной еще в 1939 г. [14]. Кардель впервые подчеркнул необходимость изучения национальных и социальных требований во взаимосвязи, указал, что слабость словенского национального движения в 1848 г. заключалась в отсутствии контакта национальных деятелей с народными массами. Именно это явилось одной из главных причин поражения революции 1848 г. [14, с. 305—306]. Кардель верно осветил основные особенности политики большинства словенских национальных деятелей в этот период (их попытку выбрать средний путь между революцией и реакцией), уловил главную (консервативную) тенденцию в развитии словенского национального движения, наметившуюся уже в то время. Однако в труде Карделя, на наш взгляд, неправомерно выделение автором революционно-демократического крыла в словенском национальном движении. Это направление, по мнению Карделя, было представлено кружком знаменитого словенского поэта Ф. Прешерна и революционным крестьянством [14, с. 276—277]. Однако крестьянство относилось к национальному вопросу с равнодушием, а немногочисленный литературный кружок Прешерна практически распался к началу революции и не имел ни оформленной политической программы, ни организации. Единственным словенским революционным демократом в 1848 г. был А. Фюстер, но он активно участвовал в немецком революционном движении, отойдя от решения национальных проблем своей родины. Резко осудив контрреволюционную позицию славянских национальных деятелей Австрийской монархии, Кардель упустил из виду, что венгерские и немецкие революционеры в значительной степени сами оттолкнули от себя славян, отказавшись принять их национальные требования. Его утверждение о том, что «никто не ставил вопроса Объединенной Словении так последовательно, как немецкая революционная левиза» [14, с. 315], не соответствует действительности. Сильно преувеличивал Кардель и распространение панславистских идей у славянских народов в 1848 г.

После опубликования книги Карделя появились другие работы, написанные в том же ключе [15; 16; 17].

В 60-е годы XX в. в словенской историографии значительным шагом вперед в теоретическом осмыслении проблем революции стали работы крупного современного словенского историка Ф. Цвиттера [18; 19]. Он проследил влияние объективных исторических условий развития Словении на формирование идеологии и политики ее национальных деятелей. Выделяя в словенском национальном движении 1848 г. либеральную и консервативную группировки, он отметил, что противоборствующими

их считать нельзя, грани между либералами и консерваторами были часто неопределенны, позиции по многим вопросам совпадали. Работы Цвиттера характеризует широта подхода к теме, стремление провести сравнительный анализ исторического развития словенцев и ряда других европейских народов.

Первое систематическое изложение событий 1848 г. в Словении с марксистских позиций было дано в книге Ф. Гестрина и В. Мелика «Словенская история с конца XVIII в. до 1918 г.» [20]. Авторы отказались от некоторых формулировок Карделя. Было признано, что в отдельные периоды революции 1848 г. австрийские славяне выступали против немецких и венгерских революционеров. Однако, по их мнению, это было обусловлено тем, что ни немцы, ни венгры не хотели признавать за славянами национальных прав. Позднее в статье «Элементы революционности в словенской политике XIX века» [21] Мелик сделал новые теоретические выводы. Заслуживает внимания его утверждение, что замысел славян преобразовать Австрийскую монархию на федеративных началах нельзя безоговорочно считать консервативным, идея создания равноправной федерации австрийских народов объективно содержала в себе революционное зерно. Мелик отметил, что программа Объединенной Словении, предусматривавшая определение границ между автономными единицами по национальному принципу, более соответствовала буржуазным нормам, чем программы, основанные на историческом праве. В словенском либеральном лагере исследователь впервые выделил два крыла — в зависимости от отношения к Франкфуртскому Национальному собранию и к немецкой левице. Краткие обобщающие статьи по исследуемой теме появились также в ряде других изданий словенских историков [22; 23].

Наряду с общими трудами по революции 1848 г. в словенских землях в югославской историографии есть работы по отдельным аспектам этой тематики. Социально-экономическое положение словенских земель накануне революции освещено в работах Б. Графенауэра [24; 25] и П. Водопивца [26]. Б. Графенауэр — крупнейший специалист по крестьянскому движению в Словении, начиная со средних веков до конца XIX в. Он впервые дал периодизацию крестьянского движения во время революции, подробно рассмотрел участие словенских крестьян в выборах во Франкфуртское Национальное собрание и австрийский рейхстаг. Проследив взаимоотношения словенских национальных деятелей и крестьянства, исследователь подчеркнул их оторванность друг от друга.

Я. Плетерский в книге «Национальное и политическое сознание в Каринтии» [27] сделал попытку рассмотреть словенское крестьянское движение 1848 г. в Каринтии в новом ракурсе — в связи с немецким радикально-демократическим движением. Он пришел к выводу об отсутствии интереса к словенскому национальному вопросу у немецких демократов. С. Гранда исследовал деятельность грацского либерального общества «Словения» [28]. В. Мелик в ряде статей разработал проблемы, связанные с деятельностью М. Маяра в 1848 г., с выборами во Франкфуртское Национальное собрание в словенских землях [29; 30; 31]. М. Бритовшек подробно осветил в своей монографии жизнь и деятельность А. Фюстера [32]. Недавно появился сборник новых исследований о Я. Блейвейсе [33]. Роль Блейвейса в словенской политике в 1848 г. характеризуется как незначительная и неактивная, ибо популярность его в то время была еще не так велика, как в последующие годы [33, с. 17]. В целом проблематика 1848 г. в этом издании почти не затронута. Австрийский ученый словенского происхождения А. Малле дал в своей книге очерк развития словенской прессы в Каринтии в 1848—1849 гг., подробно рассмотрел функционирование известных национальных деятелей Словении священников М. Маяра и А. Эйншпиллера [34].

Вопросы хорватско-словенских отношений нашли отражение в работах Ф. Петре [35] и П. Корунича [36]. Петре педерно трактовал появившуюся в 1848 г. идею равноправного политического союза хорватов и словенцев как «последний отголосок иллиризма у словенцев» [35, с. 346], упуская из виду, что, в отличие от концепции иллиризма, эта идея предпо-

лагала сохранение национальной и политической самостоятельности каждого из народов. Корунич дал сравнительную характеристику развития идей югославянской федерации у хорватов и словенцев. 1848 год он оценил как поворотный в истории отношений этих двух народов, когда обеими сторонами впервые было высказано желание вступить в политический союз на основе уважения индивидуальностей как хорватов, так и словенцев [36, с. 221]. Идея югославянской федерации не затронула широкие массы словенского народа. К концу 1848 г. они потеряли к ней интерес (в отличие от хорватов), проявляя стремление к образованию всеславянского союза. Исследование П. Корунича доказывает, что, вопреки существовавшему ранее мнению, идея равноправного политического союза со словенцами получила распространение у хорватов в 1848 г.

Из работ историков других социалистических стран большой интерес представляет опубликованный недавно чешским историком Й. Колейкой цикл статей по национальному вопросу в революции 1848 г. в Австрийской империи [37]. Колейка с марксистских позиций подробно рассматривает дискуссии во Франкфуртском Национальном собрании и австрийском рейхстаге по национальному вопросу, описывает подавление венгерской революции армией Й. Елачича. Открывает цикл статья «О критериях оценки национальных движений» [38], где автор разрабатывает важные методологические аспекты этой проблематики, связанные с оценкой славянских движений 1848 г. Марксом и Энгельсом.

В западной историографии также существует ряд трудов по интересующей нас тематике. Как правило, в них нет характеристики революционного движения непосредственно в словенских землях. Однако в этих работах подчас содержатся важные выводы, касающиеся крестьянского и национального вопросов в Австрийской империи в 1848 г.

Первым из буржуазных историков обратился к событиям 1848 г. австрийский ученый А. Шпрингер еще в 1865 г. [39]. Либерал А. Шпрингер симпатизировал немецким левым, считая их выразителями народных интересов [39, S. 407], хотя и не одобрял Октябрьское восстание в Вене. Либеральные реформы венгерских революционеров он также оценивал положительно. Однако, несмотря на свои симпатии, ученый старался дать объективную оценку и славянским движениям. Он справедливо указывал, что панславизм в Австрийской монархии в период революции практически не играл роли [39, S. 34]. Шпрингер сделал верный вывод о том, что, хотя славяне выступали против объединения немецких земель и против либеральных тенденций венгров, в некоторых отношениях они являлись большими радикалами, чем другие народы империи, так как мечтали о полном преобразовании существовавшего государственного и национального права.

В 1923 г. вышла работа австрийского ученого М. Баха «История австрийской революции» [40]. Мелкобуржуазный историк, Бах выступил по отношению к славянским движениям с националистических позиций, расценивая их как сугубо реакционные, отрицая национальные и культурные традиции хорватов и словенцев.

Передко обращаются к тематике 1848 г. в Австрийской монархии и современные западные либеральные историки. Наиболее подробными и интересными являются исследования американца Р. Кэнна [41; 42], австрийца Х. Ханча [43; 44], англичанина К. Макарти [45].

На самых правых позициях стоит Х. Ханч. Он отрицательно оценивает роль национальных движений австрийских народов (в том числе немецкого) в революции 1848 г., полагая, что они подорвали силы Австрийской монархии, являвшейся, по его мнению, образцом государственного устройства [43, S. 7, 39]. В работе Ханча прослеживаются сильные пангерманистские тенденции. Так, он считает, что немцы представляли «цивилизаторскую силу» империи [43, S. 41], подчеркивает их роль в борьбе за сохранение целостности Австрийской монархии в 1848 г. Вместе с тем историк признает, что в 1848 г. были необходимы уступки угнетенным национальностям во имя укрепления империи. В конституционном проекте, подготовленном Кромержижским рейхстагом, он видит основы «для мирного сожи-

тельства и совместного существования народов Австрии». Особенно привлекательным кажется Ханчу то, что этот проект не предусматривал радикального изменения структуры монархии, пытаясь совместить осуществление новых буржуазных идей с исторической традицией [43, S. 46—47; 44, S. 353—354].

Р. Канн, крупный специалист по национальным проблемам, рассматривая в своих трудах вопрос об исторических и неисторических пародах, указывает, что ориентация на средневековые исторические границы в XIX в. уже устарела, ибо возникла новая социальная и этническая ситуация. Ученый справедливо отмечает прогрессивность нового подхода к территориальному разделению земель, подчеркивая, что в истории Австрийской монархии первой национальной программой, в основу которой был положен этнический принцип, являлась программа Объединенной Словении [42, S. 304]. Канн сводит суть внутренних противоречий в Австрийской империи к противоборству тенденций интеграции (главный консолидирующий элемент он видит в техническом прогрессе) и дезинтеграции (эту тенденцию представляла национальная борьба, а также влияние внешних факторов). Распад империи исследователь расценивает отрицательно, видя в ней исключительную по своему значению государственную организацию.

Профессор Эдинбургского университета К. Макарти справедливо считает крестьянский вопрос краеугольным камнем революции 1848 г. в Австрии. Им верно рассматривается позиция крестьянства в революции, выявляются особенности национальных движений. По мнению Макарти, национальные движения нельзя назвать классовыми в полном смысле этого слова, так как в национальные программы включались требования социальных реформ, общие для нескольких классов [45, p. 281]. Однако к славянским национальным движениям историк относится с неприязнью, характеризуя их как «шовинистические» [45, p. 300].

Фундаментальным исследованием по истории революции 1848 г. в Австрийской империи является вышедший недавно в Вене трехтомный труд «Габсбургская монархия в 1848—1918 гг.» [46], в составлении которого приняли участие историки многих стран и национальностей. Обобщающую статью по национальному вопросу написал Р. Канн.

Несколько страниц своей книги посвятил участию каринтийских словенцев в революции 1848 г. американский ученый Т. Баркер [47]. Вопросы этого он коснулся лишь вскользь, новых выводов не сделал, ограничившись констатацией факта, что словенское национальное движение в Каринтии в 1848 г. было слабым.

Из работ марксистского направления в западной историографии можно выделить монографию австрийского ученого Р. Роздольского (полюка по происхождению) «Крестьянские депутаты в конституционном австрийском рейхстаге 1848—1849 гг.» [48]. Основываясь на многочисленном архивном материале, Роздольский дает подробную и верную картину выборов крестьян-депутатов в разных областях Австрии, характеризует их участие в работе рейхстага. Крестьянский вопрос он считает движущей силой революции, от его решения зависели как ее начальные успехи, так и окончательное поражение [48, S. 2]. Ученый подчеркивает, что ни один представитель немецкой левицы в рейхстаге не являлся действительным выразителем крестьянских интересов [48, S. 108]. Он приходит к выводу, что крестьянские депутаты в рейхстаге защищали интересы своего класса, выступая за отмену феодальных повинностей без выкупа. В книге Роздольского содержится немало интересных сведений и о словенских депутатах.

Таким образом, к настоящему времени изучен достаточно широкий круг вопросов, касающихся специфики развития национально-освободительного движения словенцев в 1848 г. Однако многие конкретные темы еще нуждаются в дополнительном исследовании. Недостаточно изучена специфика национального движения в различных областях Словении, деятельность словенских депутатов в австрийском рейхстаге 1848—1849 гг. Требуется дальнейшей разработки вопрос о связях словенских национальных деятелей того периода с национальными деятелями других австрийских

славян, о взаимовлиянии их взглядов. В историографии почти не уделено внимания системе австрийского управления в Словении накануне революции, политике австрийских властей, направленной на подавление революционного движения 1848—1849 гг. Несмотря на значительное количество литературы, посвященной революционным событиям 1848 г. в словенских землях, тому эту нельзя считать исчерпанной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Революция 1848—1849. Т. 1—2. М., 1952.
2. История Югославии. Т. I. М., 1962.
3. Освободительные движения народов Австрийской империи. Т. I. М., 1980.
4. Чуркина И. В. Словенское национально-освободительное движение и Россия в XIX в. М., 1978.
5. Чуркина И. В. Национально-политические идеи словенцев в 1848 — начале 70-х годов XIX в. — В сб.: Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981.
6. Чуркина И. В. Политическая программа Матии Маяра в 1848 г. — Советское славяноведение, 1968, № 5.
7. Čurkina I. V. Matija Majar-Ziljski. Ljubljana, 1974.
8. Mal J. Zgodovina slovenskega naroda. Celje, 1934.
9. Apih J. Slovenci in 1848 leto. Ljubljana, 1988.
10. Lončar D. Politično življenje slovencev (1797—1949). Ljubljana, 1921.
11. Lončar D. Dr. Janez Bleiweis in njegova doba. Ljubljana, 1923.
12. Lončar D. Anton Globočnik in slovenski narodni program 1848 leta. — In: Carniola. Ljubljana, 1912, s. 208—209.
13. Prijatelj I. Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina, zv. 1—5. Ljubljana, 1955—1966.
14. Kardelj E. Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Ljubljana, 1970.
15. Kidrič B. Zbrano delo. Knj. I. Ljubljana, 1958.
16. Kidrič F. Godina 1848 i Prešern. — Hrvatsko Kolo, 1948, № 4.
17. Zihel B. Včeraj in danes. Ljubljana, 1974.
18. Zwitner F. Slovenski politični prerod XIX stoletja v okviru evropske nacionalne problematike. — Zgodovinski časopis, 1964, № XVIII.
19. Zwitner F., Sidak S., Bogdanov V. Nacionalne problemi v Habsburški monarhiji. Ljubljana, 1962.
20. Gestrin F., Melik V. Slovenska zgodovina od konca XVIII stoletja do 1918. Ljubljana, 1966.
21. Melik V. Elementi revolucionarnosti v slovenski politiki 19. stoletja. — In: Elementi revolucionarnosti v političnem življenju na Slovenskem. Ljubljana, 1973.
22. Enciklopedija Jugoslavije. Zv. 7. Zagreb, 1958. s. 321.
23. Zgodovina slovencev. Ljubljana, 1979.
24. Grafenauer B. Slovenski kmet v letu 1848. — Zgodovinski časopis, 1948—1949.
25. Grafenauer B. Zgodovina slovenskega naroda, zv. 5. Ljubljana, 1961.
26. Vodopivec P. Socialni in gospodarski nazori v slovenskih in sosednjih pokrajinah v predmarčni dobi. Ljubljana, 1978.
27. Pleterški J. Narodna in politična zavest na Koroskem. Ljubljana, 1965.
28. Granda S. Graška Slovenija v letu 1848—1849. — Zgodovinski časopis, 1974.
29. Melik V. Frankfurske volitve 1848 na Slovenskem. — Zgodovinski časopis, 1948—1949.
30. Melik V. Majarjeva peticija za Zedinjeno Slovenjo 1848. — Časopis za zgodovino in narodopisje, 1979, st. 1—2.
31. Melik V. Leto 1848 v slovenski zgodovini. — XVII seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana, 1981.
32. Britovšek M. Anton Fuster in revolucija 1848 v Avstriji. Maribor, 1970.
33. Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, zv. 7. Ljubljana, 1983.
34. Malle A. Die slowenische Presse in Kärnten. 1848—1900. Klagenfurt 1979.
35. Petre F. Poizkus ilirizma pri slovincih (1845—1849). Ljubljana, 1939.
36. Korunič P. Jugoslavenska ideja v hrvatskoj i slovenskoj politici za revolucije 1848—1849 g. — In: Radovi, v. 14 (I) Zagreb, 1981.
37. Slovansky přehled, 1980, № 3, 4, 5; 1981, № 1, 3, 4; 1982, № 1, 4; 1983, № 2, 4.
38. Kolejka J. O kritériích hodnocení národních Hnutí. — Slovanský přehled, 1980, № 3, s. 224—231.
39. Springer A. Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener Frieden 1809, T. II. Die österreichische Revolution. Leipzig, 1865.
40. Baz M. История австрийской революции 1848 г. М. — Л., 1923.
41. Kann R. A. The Habsburg Empire. A Study of Integration and Disintegration. New York, 1973.
42. Kann R. A. Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie, Bd. I. Graz — Köln, 1964.
43. Hantsch H. Die Nationalitätenfrage im alten Österreich. Wien, 1953.
44. Hantsch H. Die Geschichte Österreichs. Bd. II. Graz — Wien, 1950.
45. Macartney C. A. The Habsburg Empire 1790—1918. London, 1971.
46. Die Habsburgermonarchie 1848—1918, Bd. I—III. Wien, 1973—1980.
47. Barker T. M. The Slovene Minority of Carinthia. New York, 1984.
48. Rozdolsky R. Die Bauernabgeordneten im konstituierenden österreichischen Reichstag 1848—1849. Wien, 1976.



ЛЕЩИЛОВСКАЯ И. И.

ИЛЛИРИЗМ В РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 30 — 40-Х ГОДОВ XIX ВЕКА

Одной из наиболее ярких и значительных сторон иллиризма — хорватского национально-освободительного движения, развернувшегося в 30—40-х годах XIX в. в Австрийской империи, было расширение и углубление контактов хорватов с другими славянскими народами, в том числе с народами России. Рост межславянских связей был выражением одной из закономерностей развития капитализма, которая состоит в национальном оформлении народов и учащении контактов между ними.

Русско-хорватские отношения в 30—40-е годы XIX в. исследовались в научной литературе как в общем плане изучения хорватского национального пробуждения, так и специально [1]. Несмотря на то, что русской журналистике того времени принадлежала важная роль в формировании общественного мнения в России, ее отношение к иллиризму еще недостаточно исследовано. Задача предлагаемой статьи — рассмотреть в контексте основных идейных направлений в русской периодической печати освещение хорватского национально-освободительного движения.

Наращение в первой половине XIX в. интереса русского общества к зарубежным славянам и связям с ними обуславливалось глубинными процессами, протекавшими в России. Формирование нации и развитие национального самосознания в русском обществе вызывало необходимость познания прошлого своего народа, уяснения его сходств и отличий от этнически родственными западных и южных славян. Проникновение в тайны русской истории и языка, путь самопознания проходили через знакомство с историей, культурой, общественной жизнью этих народов.

Осмысление разными общественными силами в России путей развития страны, ее государственных интересов неизбежно повышало внимание к взаимоотношениям России с другими, в том числе славянскими, народами. Развитие освободительного движения в России побуждало ее прогрессивных деятелей следить за проявлениями борьбы против тирании и угнетения в Европе, достойное место в которой занимали славянские народы, пробуждающиеся к национальной жизни и один за другим вступающие на путь борьбы за освобождение.

Складывание русской национальной культуры было связано с сознательным обменом культурными достижениями с другими народами. С начала XIX в. особую актуальность приобрел вопрос о создании русской национальной литературы и национального литературного языка. В печати разных общественных направлений бурно дискутировались вопросы языка и программа литературной деятельности. Эти проблемы были актуальны и для других славянских народов. Сходство культурных задач побуждало к постижению славянского опыта для осознания национального культурного развития и воздействия на него. В процессе осмысления широкого круга проблем, связанных с потребностями русской нацио-

нальной жизни, определенное место занимал и хорватский народ, его политическое положение и культура. Внимание русской общественности к нему возрастало по мере его национального подъема. В 30—40-х годах XIX в. основные направления общественной жизни России интересовались южными славянами, и хорватами в частности. Однако исходные мотивы этого интереса, как и его целенаправленность, были разными.

Отвечая на потребность русской общественности в информации о зарубежных славянских народах было обращение периодической печати к славянским сюжетам. Но, толкая вопросы развития славян, русская журналистика решала не только эту задачу. Славянский материал, служивший обоснованию соответствующих идейно-политических принципов, использовался печатью разных направлений также и в общественной борьбе тех лет.

Иллирийское движение началось в 1835 г. с выходом в Загребе газеты «Новине хорватске» (с 1836 г. — «Илирске народне новине») с литературным приложением «Даница хорватска, славонска и далматинска» (с 1836 г. — «Даница илирска»). Особенностью иллиризма была его направленность на объединение в культуре южных славян, в первую очередь сербов, хорватов и словенцев, которые идеологами движения были объявлены одним народом под названием «иллиры».

Русская журналистика начала знакомить своих читателей с историей, культурой и политическим положением хорватов задолго до иллиризма, хотя это было связано с большими трудностями. С развитием иллиризма и дальнейшим возрастанием интереса к хорватам в России расширились русско-хорватские связи. Хорватию, Славонию и Далмацию посетили русские ученые и литераторы, установившие личные контакты с деятелями иллиризма. В 1840 г. в Хорватию приезжал О. М. Бодянский, в 1841 г. — И. И. Срезневский и П. И. Прейс, в 1846 г. — В. И. Григорович, которые проходили за границей научную подготовку для занятия кафедр славистики в Московском, Петербургском, Харьковском и Казанском университетах. В 1841 г. в Загребе побывали Д. М. Княжевич, в то время попечитель Одесского учебного округа, председатель Одесского общества любителей истории и древностей, и критик и эстетик Н. И. Надеждин. В 1843 г. в Загребе был литератор В. А. Панов. В 1845 г. Хорватию и Славонию посетили: ученый и общественный деятель Ф. В. Чижов, ранее бывавший в Далмации, историк русской литературы А. Д. Галахов, публицист и переводчик Н. А. Ригельман. Все это способствовало более полному и оперативному освещению современных процессов в хорватской жизни русской печатью. Официальное запрещение писать о политике частным журналам выдвинуло в печати 30—40-х годов XIX в. на передний план научно-литературную информацию. На ее основе решались актуальные общественные вопросы времени.

Первые сведения об иллиризме, а именно о национальной хорватской литературе, появились в лучшем журнале России 40-х годов XIX в. «Отечественные записки». Журнал пользовался большим успехом у читателей [2]. «Отечественные записки» вели принципиальную борьбу против реакционной печати, в том числе и по проблемам истории, современной жизни и судеб славянских народов; он выступал против славянофильских крайностей в трактовке истории славян, идеализации их старины, противопоставления другим народам. «Стоять в общем кругу образованных народов, подлежать одним и тем же законам развития — вот наша, вот общая всем благороднейшая гордость», — такой была точка зрения журнала [3, 1846, т. 49, с. 71].

«Отечественные записки» с прогрессивных позиций обращались к славянским сюжетам и толковали их. «Мы далеки от мысли, — утверждал журнал, — что исторические вопросы о славянском мире, поднятые в наше время, не важны. Мы им сочувствуем всем сердцем... и кто может отказать им в сочувствии, когда в наше время в лице славянских племен выступает новый деятель на сцену всемирной истории; когда он готовится к разумной, сознательной жизни» [3, 1846, т. 47, с. 26]. И далее: «Все связывает нас со славянами. Как более счастливые между ними, мы должны содействовать

их развитию, подать им руку помощи в их стремлении к образованию» [3, 1846, т. 47, с. 27]. Взаимодействие со славянскими народами, помощь им, но не в силу славянской исключительности, а на основе общности задач — так понимал журнал позицию прогрессивной России в славянском вопросе.

В 1841 г. журнал поместил обзор работавшего в Варшаве филолога-русиста П. П. Дубровского — «Литературные новости в западном славянстве (Письмо редактору)». В параграфе «Иллирийская литература» Дубровский, в соответствии со взглядами идеологов иллиризма на южных славян как один народ, отмечал новинки их литературы, при этом жаловался на трудности ее получения, что мешало, по его словам, регулярной информации о ней.

Среди первых имен «иллирийской», а в действительности хорватской национальной литературы, Дубровский назвал Людевита Гая, идейного вдохновителя иллиризма, издателя газеты «Илирске народне новине» и журнала «Даница илирска». Дубровский характеризовал журнал Гая как орган «почти всего славянства». Он сообщал также: «В Загребе (Аграме) вышли стихотворения Станка Вроза¹ под заглавием „Дюлябие“ (с турецкого Дюль — роза). Станко Вроз уже известен прекрасным изданием народных иллирийских песен на славянском наречии, которым говорят в Штирии и Западной Венгрии². Изданные им теперь стихотворения обещают для иллирийцев превосходного поэта» [3, 1841, т. 17, с. 30]. О Далмации было сказано, что там также «начинается теперь литературная деятельность». Письмо Дубровского было проникнуто духом учения о славянской взаимности Я. Коллара, стремлением к сближению славянских литератур. Под этим углом зрения Дубровский рассматривал и литературные события на славянском юге. Читатели «Отечественных записок» были знакомы с принципами Я. Коллара, поскольку журнал незадолго до этого напечатал в переводе его трактат «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими», где была изложена программа литературно-духовного союза славян.

Журнал откликнулся в рецензиях на выходившие в России книги и журнальные статьи, специально посвященные славянам или содержавшие сведения о них, в том числе и о хорватах. Таковы были рецензии на «Славянское народописание» П. Й. Шафарика в переводе О. М. Бодянского [3, 1843, т. 30], на «Московский литературный и ученый сборник» [3, 1846, т. 47; 1847, т. 52] и др. Рецензии, раскрывавшие содержание соответствующих изданий ориентировали читателей в литературе о славянах и помогали пониманию истории и современной культуры славянских народов в соответствии с передовыми взглядами своего времени.

П. П. Дубровский выпускал в 1842—1843 гг. в Варшаве издание «Деница», где сотрудничал Ст. Враз. Здесь публиковались материалы, содержавшие сведения о литературе иллиризма, общественной деятельности в Загребе, культурных институциях, в том числе о денежном фонде под названием «Матица илирска», созданном в 1842 г. при Читальне в Загребе, но фактически ставшем особым обществом для издания и распространения книг на национальном языке хорватов. «Деница» сообщала о работе Сельскохозяйственного общества в Хорватии и Славонии. Журнал давал информацию о жизни хорватов на фоне общественного подъема славян.

Хорватской культуре уделял внимание и журнал «Современник». Основанный в 1836 г. А. С. Пушкиным, он в 1838 г. перешел к П. А. Плетневу. С этого времени журнал не имел четкой положительной программы. В нем публиковались авторы разных взглядов и направлений.

В 1838 г. в разделе «Новые переводы» в связи со сборником «Сербские народные песни» в переложении М. Касторского журнал писал: «Первое участие к славянской народной поэзии возбудил в середине прошлого столетия хорват Качич, монах Францисканского ордена. Он издал Разговор (Слово) и Песни о делах иллирийских героев. С морлакскими песнями его познакомил Германию сам Гердер. С этого времени путешественники более

¹ Станко Вроз, словенец по происхождению, был выдающимся поэтом иллиризма.

² Это был сборник словенских народных песен.

и более знакомилась со славянской жизнью в Иллирии» [4, 1838, т. 12, с. 94—95]. «Современник» подчеркнул значение творчества Качича-Миошича в пробуждении европейского интереса к народной поэзии южных славян.

В 1846 г. «Современник» опубликовал статью Срезневского «Литературное оживление западных славян». Срезневский писал о развитии у славян в XIX в. «чувства народного». «Особенно важно было, — отмечалось в статье, — возбуждение хорватов, ставших лицом к лицу со своею народностью против мадьяров, вздумавших силою мадьярить все около себя. Чтобы утвердиться более, хорваты отказались обрабатывать литературное свое провинциальное наречие, приняв наречие сербское, и указали этим на возможность литературного соединения большей части славян задунайских» [4, 1846, т. 42, с. 322—323]. Хотя статья Срезневского была посвящена литературным вопросам, автор коснулся национальных противоречий в Дунайском регионе. Он правильно отметил, что потребность противодействия внешнему давлению и самозащиты явилась побудительным мотивом в пользу литературно-языкового объединения хорватов с сербами. Однако трактовка штокавского диалекта, на котором говорили сербы и часть хорватов, как исключительно сербского, была ошибочной.

Говоря о резонансе, который литературно-языковая практика иллиризма получила на славянском юге, Срезневский писал: «Следствием этого было не только развитие литературы хорвато-сербской и ее возрождение в Далмации, но и то, что литература сербов православных получила в свою очередь гораздо больший объем и более народное направление и что литературная деятельность хорватов вышла из тесной колеи нужд простого народа» [4, 1846, т. 42, с. 323]. Срезневский справедливо отмечал влияние иллиризма на культурный подъем сербов и словенцев. Однако характер их литературной деятельности объяснялся в первую очередь условиями внутреннего развития этих народов.

Срезневский остановился на формах культурной деятельности у славян, в том числе и у хорватов. Это были: выпуск периодических изданий и книг, около половины которых, по его словам, «посвящается истории, народности, памятникам народной словесности и наречиям славян», организация в Пеште, Праге и Загребе «матич», устройство литературных вечеров, балов, театральных представлений, которые в свою очередь распространяли «любовь к народности и литературе во всех классах общества». Из потребности основательного изучения славян, продолжал Срезневский, в Европе открыты 10 кафедр для преподавания их истории и литератур [4, 1846, т. 42, с. 324—325]. Автор статьи особо подчеркивал, что, несмотря на всевозможные помехи на пути развития славян, их «успехи уже видны» [4, 1846, т. 42, с. 325].

Касаясь чувства «законной и благородной взаимности всякого рода», Срезневский писал, что у сербов, болгар, поляков и русских оно «едва дышит в сравнении с тем огнем, который одушевляет хорватов, чехов, словаков» [4, 1846, т. 42, с. 326]. Срезневский обоснованно обратил внимание на то, что идеи славянской взаимности получили наибольшее распространение у славян в Австрийской империи, но не дал объяснения этому факту. В заключение он выразил уверенность в неизбежном повышении интереса и внимания к славянству в России.

В статье Срезневского была нарисована панорама культурной жизни славян 40-х годов XIX в. Пробуждение славян характеризовалось как процесс, общий для них. Иллиризм рассматривался в контексте славянского развития с присущими ему характерными чертами.

В 1846 г. в «Современнике» было опубликовано письмо известного славянофила Ф. В. Чижова к Н. М. Языкову из Загреба, написанное в июне 1845 г. В письме содержалось описание города Риеки — хозяйства, быта, отмечалась неразвитость общественной жизни. Но главное, Чижов сообщал о дружеском расположении, которое он как посланец России ощущал в Загребе. «Трудно было бы мне перечислить мои новые знакомства, — писал он, — а число моих новых знакомых и число моих друзей — людей, на всяком шагу доказывающих истинное, неподложное ко мне влечение —

одно и то же... Тут все, что несется мне в дар, несется одному имени Русского» [4, 1846, т. 53, с. 251—252]. Чижов правильно толковал внимание загребских деятелей к нему как проявление общих симпатий к России. Независимая Россия привлекала к себе благодаря внешней политике на Балканах, направленной на ослабление османского господства, притягивала мощью и величием русской культуры. Сказывалось и чувство родства хорватов с русским народом.

С конца 30-х годов XIX в. заметным явлением русской общественной мысли стало формирование славянофильского направления. Отражая настроения части дворянства, оно сочетало консервативные и умеренные либеральные черты. Ранние славянофилы — А. С. Хомяков, И. В. и П. В. Киреевские и другие — проявляли большой интерес к славянскому миру. В центре их внимания были судьбы России. Они пытались решать актуальные вопросы ее общественно-политического развития, связывая его со всем славянством. Противопоставляя Россию и Запад, славянофилы выдвинули историко-философскую концепцию «самобытного развития» славянского мира, его исторического предопределения освободить человечество от общественных пороков, свойственных Западу. Ранние славянофилы стремились к взаимному сближению России и зарубежных славян на основе православия с целью упрочения авторитета православной России [5]. Во взглядах ранних славянофилов на судьбы славян сочетались заинтересованность в общественном подъеме славянских народов и претензии на их мессианскую роль в историческом развитии человечества.

С этих позиций славянофилы выступали в печати по вопросам современной жизни зарубежных славян. В 1846—1847 гг. они выпускали «Московский литературный и ученый сборник». В нем были помещены письма из Вены Ригельмана. Отмечая элементы «новой славянской жизни», он видел в ней зародыш «новой всемирной эпохи». Ригельман подчеркивал наличие в славянах «особенного духовного организма», который якобы возвышал их над другими народами [6, с. 374].

Величие славянского духа Ригельман раскрывал, в частности, на примере музыкального искусства. Автор указывал путь, по которому, с его точки зрения, следовало идти русским композиторам — путь освоения «музыкальных стихий общеславянского мира». Ригельман писал: «Эпическая простота сербского речитатива, мужественный, воинский характер напевов хорватских, нежная унылость и тоска любви, выражающиеся в чешских и моравских, безотрадная грусть пения словацкого — все эти многообразные преломления единого народного чувства, присоединенные к ярким цветам племен нашего великого отечества, составят особенный, чарующий мир звуков, которому ничего подобного не имеет весь запад. Нам надо гения, который бы волшебным жезлом творчества открыл тайники славянской музыкальной души; тогда запад преклонит колена перед несслыханною музыкою» [6, с. 393]. В примечании к этому пассажи говорилось: «Вместо того, чтобы ездить в Париж, если бы Глинка или Дорогомыжский поехали по Италии, Моравии, Хорватской, Сербии и другим славянским землям, то они бы воротились с запасом драгоценных семян, которые, возделанные ими, дали бы им обильную жатву. Им бы открылся мир новый и вместе знакомый, свой; поле, ожидающее только способной руки» [6, с. 393].

Ригельман высказал здравую мысль о богатстве музыкального фольклора славян, о важности для русского музыкального искусства связей с соответствующей культурой западно- и южнославянских народов. Однако эти положения были окрашены присущей славянофилам теорией. Искусственность позиции Ригельмана была убедительно показана в рецензии «Отечественных записок» на славянофильский сборник. Журнал писал: «Хотя в необходимости и тем больше в пользу этой связи никто из нас не сомневался, но автору, видно, нужны сомнения изобретенные, фантастические» [3, 1847, т. 52, с. 10].

В 40-е годы постоянный интерес к славянам проявлял издававшийся известным историком М. П. Погодиным журнал «Москвитянин», который придерживался официальной доктрины «самодержавие, православие и

народность». Он имел постоянный отдел «Славянские известия», в котором сотрудничали Срезневский, Надеждин, Дубровский, Бодянский, Чижев.

В соответствии с программой журнала, который считал своей задачей «распространять в России сведения о племенах славянских», Погодин в 1841 г. в статье «Славянские племена» остановился на культурных событиях у славян в Австрийской империи. О хорватах было сказано: «Главное средоточие католических иллирийцев в Аграме; там господствует пламенная любовь ко всему отечественному и славянскому. Все образованное юношество пробудилось от дремоты бездействия и имеет образ мыслей совершенно славянский; к тому же здесь сосредоточено столько просвещенных людей и отличных ученых, что в этом отношении Аграм далеко оставляет за собою все прочие иллирийские города... Душою этого направления Гай, иллирийский Новиков, достойный идти наряду с первыми славянскими знаменитостями и посвятивший всю жизнь свою делу возрождения своих соплеменников. Нельзя достаточно оценить его трудов... Неумолимая его деятельность принесла в короткое время плоды невероятные» [7, 1841, ч. I, № 2, с. 474—475]. Духовный подъем «иллирийцев» журнал сравнивал с возрождением Италии в XV—XVI вв. Погодин не имел четкого и тем более правильного представления об этническом составе югославян. Но он выразил поддержку объединительным усилиям Гая и его сторонников, хотя и не мог раскрыть реальный хорватский национальный смысл их начинаний.

В том же году в «Москвитянин» было опубликовано «Письмо из Вены о сербских песнях» Надеждина. Здесь говорилось о возрождении хорватов «под предводительством пламенного патриота Людовита Гая». Надеждин писал: «Гай действует, точно как наш Новиков: он завел в Загребе (Аграме) типографию и сыплет в народ книгами на родном языке. Этот язык, как известно, есть ветвь сербского языка, отчасти с прививками крайскими. До сих пор он чужд был всякого литературного образования, даже не имел порядочной орфографии. Гай старается дать ему первое по образцам так называемой дубровницкой (рагузской) литературы; вторую всю целиком заимствовал у чехов. Этого было довольно, чтобы зашуметь о панславизме! Впрочем, само правительство оказывает благосклонность, даже покровительствует патриотическому рвению зиждителя хорватской словесности. Гай без труда получил привилегию на открытие типографии, где знает да печатает. Остается только, чтобы читали!» [7, 1841, ч. III, № 6, с. 516].

Надеждин разделял распространенное заблуждение относительно этнического характера штокавского диалекта, но он тонко подметил присутствие в новом литературном языке хорватов наряду со штокавской основой и «крайских», в действительности кайкавских, элементов. Обоснованным было наблюдение Надеждина о стремлении Гая найти опору новому языку в дубровницкой классике, как и о чешском влиянии на реформированную им орфографию. Не углубляясь в тонкости австрийской политики в отношении иллиризма, Надеждин отмечал благосклонность правительства к начинаниям Гая. Однако разрешение на устройство типографии хорватский деятель получил отнюдь не «без труда», как это представлено в письме, но после долгих хлопот. Обращая внимание на поддержку со стороны Вены культурных движений чехов и хорватов, Надеждин стремился подчеркнуть их лояльность правительству и тем самым дезавуировать обвинения в панславизме, с которыми выступала немецкая националистическая пресса.

«Москвитянин» неоднократно проводил параллель между деятельностью Гая и Новикова. Однако сходство в данном случае могло быть только внешним, поскольку Новиков в России, а Гай в Хорватии представляли разные этапы историко-культурного развития, хотя и в рамках одной большой эпохи формирования национальных культур.

Пространная характеристика современной хорватской литературы сохранилась в письме к издателю под названием «Несколько слов о новейшей иллирийской литературе»³. «Если где-нибудь случилось чудо,— го-

³ Письмо было без подписи. Но многочисленные совпадения приведенных в нем

ворилось в письме, — так это на берегах Дравы и Савы, на побережье Адриатики. Еще за семь лет робко билось сердце Гая, когда он возвратился из Богемии в свой любезный Аграм (Загреб)... Явился великий преобразователь; произошел совершенный переворот — из маловодных ручейков образовались прекрасные потоки и реки, настало время жизни, всеобщей иллирийско-славянской жизни, которой биение выражается в „Danica“ и „политической газете“ [7, 1842, ч. II, № 3, с. 211]. Останавливаясь на литературе иллиризма, анонимный автор прежде всего указывал на «Даницу» как «на средоточие, из которого проистекает одушевление национальности и к которому все обращают свои взоры» [7, 1842, ч. II, № 3, с. 212]. Автор писал, ссылаясь на Срезневского, об участии в «Данице» 69 писателей [7, 1842, ч. II, № 3, с. 212].

В письме культурная жизнь на славянском юге характеризовалась в соответствии с теоретическими принципами иллиризма. Здесь говорилось об «иллирийской нации» и ее литературе. В действительности, речь шла о национальных литературах хорватов и других югославян. При этом, стремясь максимально возвысить Гая и показать непреходящее значение его литературных начинаний, автор изображал дело так, будто хорваты до середины 30-х годов XIX в. вовсе не имели сколько-нибудь кодифицированного литературного языка. Это не отвечало реальному положению, так как кайкавский диалект, располагавший богатой литературной традицией, находился в XVIII — первых десятилетиях XIX в. в процессе кодификации. Что же касается штокавского диалекта, который получил в прошлом блистательное выражение в далматинско-дубровницкой классике XVI—XVII вв., его лексические и грамматические нормы в новое время были кодифицированы В. Караджичем. Значительно сложнее, чем представлял журнал, обстояло дело с практическим слиянием южных славян в литературном языке, что было главной культурной целью иллиризма. Это не исключало распространенного воодушевления объединительной идеей на юге. Подлинное величие Л. Гая и его последователей состояло в реальном объединении хорватов в общенациональном литературном языке на основе штокавского диалекта, что создало возможность для их литературно-языкового соединения с сербами.

В письме, кроме Гая и Драшковича, были названы «народные певцы»: Враз, Вукотинович, Деметер, Кукулевич-Сакцинский, Раковац, Штоос. Поэтический Парнас украшала Ана Видович, выпустившая в Задаре сборник лирических стихотворений «Анка и Стапко» (1841). «Даница», сообщал автор письма, «отзывается об нем очень благоприятно, говоря, что оно написано в духе той естественной поэзии, которую после Омира и Оссиана мы находим только в иллирийских народных песнях» [7, 1842, ч. II, № 3, с. 213]. Автор с удовлетворением отмечал проявление поэтессы симпатий к иллиризму. Что же касается старой орфографии, на которой был издан сборник, корреспондент заявлял: «Нельзя упрекать сочинительницу за то, что ее стихотворение напечатано с соблюдением старинной далматской орфографии, оттого что в Иллирии есть еще усердные поклонники фетишей, которые не иначе могут признавать божество, как под форму безобразного болвана» [7, 1842, ч. II, № 3, с. 213]. По этому поводу редактор «Москвитянина» дал примечание: «Вопрос о правописании в Иллирии и других славянских странах имеет великую, государственную важность! Какие любопытные явления!» [7, 1842, ч. II, № 3, с. 213]. «Москвитянин» выразил поддержку новой орфографии Гая, рассматривая ее в контексте литературно-языкового сближения «иллирийцев», в действительности южных славян. В кругах славянской общественности в соответствии с лингвистическими представлениями того времени правописанию отводилась важная роль в развитии языка. «Москвитянин» обратил внимание на политическое значение вопроса о правописании в условиях жизни хорватов и других славян.

данных с фактами, содержащимися в письмах Срезневского к В. Гаю из Загреба, опубликованных тогда же в чешских и польских изданиях, свидетельствуют о том, что «Москвитянин» опирался на материалы Срезневского [8].

В письме отмечалось далее, что драматические сочинения Деметера, филологические труды Бабукича и Мажуранича «очень известны». Журнал писал об усилиях деятелей иллиризма по созданию национальной сцены, о готовившихся к изданию альманахе «Звуки из Оснека» и сборнике народных песен, записанных в Славонии; о литературных событиях, отмеченных влиянием идей иллиризма, в других югославянских землях: о подготовке очередного выпуска альманаха «Краиньска чбелица» на «иллирийской», т. е. предложенной Гаем, орфографии и выходе в Нови Саде альманаха «Бачка вила». Его издатель П. Йованович, говорилось в письме, «предположил себе прекрасную цель познакомить сербских иллирийцев с их юго-западными братьями, родственными им по языку и происхождению» [7, 1842, ч. II, № 3, с. 214].

«Москвитянин» сообщил подробные фактические сведения о деятельности сторонников иллиризма в области культуры в Хорватии, Славонии и Далмации, о влиянии его идей на словенцев и сербов. Журнал дал высокую оценку достигнутых успехов.

Данные об иллиризме были дополнены в том же году Срезневским в заметке «Несколько слов о поюстях славянских». Срезневский известил, в частности, о новом журнале в Загребе — «Коло». «Издатель, — писал он, — Станко Враз, недавно издавший новое собрание своих дивных стихотворений под названием „Glase iz Žeravinske dubrove“» [7, 1842, ч. III, № 6, с. 395]. Срезневский выразил восхищение художественными достоинствами нового стихотворного сборника Враза.

«Москвитянин» напечатал в 1843 г. в переводе Бодянского труд Шафарика «Славянское народописание». В «Послесловии переводчика» Бодянский писал об этом сочинении: «Тут-то славяне в первый раз очутились в *одном видимом семействе*, детьми одной матери... Давным давно уже все в высшей степени нуждались в подобном творении» [7, 1843, ч. III, № 5, с. 115]. Концепция этого труда отвечала общественной потребности в сближении славянских народов. В сочинении Шафарика содержались сведения о территории расселения хорватов, их численности, языке, литературе. Однако чешский ученый ограничил хорватский этнос населением, говорившим на кайкавском диалекте. К сочинению прилагались три хорватские народные песни, записанные Срезневским.

В том же году Шафарик в письме редактору «Москвитянина» сообщал: «В Загребе (Аграме) печатают, слышно, Гундулича, знаменитейшего поэта иллирийского» [7, 1843, ч. IV, № 7, с. 225]. Не первый раз русская печать обращала внимание читателей на Гундулича, творчество которого явило собой высшее достижение дубровницкого Ренессанса в жанре эпической поэзии.

Об отношении югославянского населения Далмации к России говорилось в письме Ф. В. Чижова, посетившего провинцию в 1843 г., к П. В. Голубкову. Отрывки из письма были опубликованы в «Москвитянике» в 1844 г. «Представь себе, — писал Чижов, — что вдали от родины ты вдруг слышишь между народом, не забудь — между народом, родные звуки: этого мало, при одном имени Русского тебя окружают, называют братом, и тебе открыты объятия гостеприимства». И далее: «В Далмации, у всех наших южных братьев славян, имя Русского соединяется с понятием о всем великом и благородном...» [7, 1844, ч. I, № 2, с. 627]. Чижов образно представил картину живого интереса югославян в Далмации ко всему русскому. Стремление деятелей иллиризма к сближению с Россией отвечало настроениям широких масс населения. Однако письмо Чижова было проникнуто чрезмерной православной религиозностью.

В заметке, посвященной Я. Коллару, Срезневский отметил его идейное влияние на Гая [7, 1844, ч. III, № 5, с. 131].

1843 год был трудным в судьбах иллиризма. Императорский патент о запрещении названия «иллиры», преследовавший цель ослабить хорватское национально-освободительное движение, цензурные строгости в Загребе нанесли удар по иллиризму. Глухой отзвук возникших трудностей получил выражение в опубликованных «Москвитянином» отрывках из писем Шафарика к Погодину. 1 января 1844 г. Шафарик писал: «Для южных

славян обстоятельства неблагоприятны. У них теперь почти ничего не выходит» [7, 1844, ч. III, № 6, с. 392]. Растерянность, охватившая сторонников национально-освободительного движения, привела к снижению литературной активности.

Зато в Задаре с начала 1844 г. стал выходить еженедельный журнал «Зора далматинска». Шафарик сообщил Погодину об этой новости. «В Царе (в Далмации), — писал он, — выдается новая газета Кузманницем⁴. Он с умыслом не принимает новой орфографии!» [7, 1844, ч. III, № 6, с. 392]. Вопрос о правописании был тесно связан с судьбами этой провинции. В письме Шафарика содержался намек на его особое значение.

В середине 40-х годов в «Москвитяине» активно сотрудничал Дубровский, который за недостатком подписчиков вынужден был прекратить выпуск «Денницы». В письмах Погодину он извещал о новостях иллиризма, основываясь в основном на хорватских источниках. В 1845 г. Дубровский, характеризуя состояние периодической печати иллиризма, писал: «Чрезвычайно любопытна „Хорватско-Славонско-Далматская газета“. Она сообщает подробные известия о политических происшествиях во всех юго-западных славянских странах. Особенное внимание обращают на себя прения венгерских и хорватских сеймов, которые бывают очень шумны... Между хорватами есть жаркие защитники отечества. Их речи, произносимые на сеймах, достойны внимания Европы. Вот где начинают образоваться наши публичные ораторы; вот где отзывается наше древнее народное *Veche!*» [7, 1845, ч. V, № 9, с. 87]. В трактовке хорватского национального вопроса Дубровский исходил из упрощенного противопоставления славяне — мадьяры. Защиту хорватами национальных прав он понимал как общеславянское дело.

Дубровский привел отрывки из речи К...а С...а (Кукулевича-Сакцинского. — *И. Л.*), которую он произнес в марте 1845 г. на генеральной скупщине Загребской жупании. В этой смелой для условий Хорватии того времени речи Кукулевич-Сакцинский обратил внимание на опасность, которая угрожала Хорватии со стороны Австрии в результате обострения внутриполитической борьбы в Хорватии и Славонии. Дубровский привел также цитату из статьи Ф. Жерявича, помещенной в национальной газете. Эти материалы, исходившие от хорватских деятелей, давали представление о накаленности политической обстановки в Загребе в 1845 г. Со своей стороны Дубровский писал: «До сих пор еще продолжают жаркие прения между хорватами и мадьярами. Хорваты стоят твердо. По-видимому, и австрийское правительство начинает склоняться на их сторону» [7, 1845, ч. V, № 9, с. 88—89]. Отмечая острооту хорватовенгерских противоречий, Дубровский правильно указал на маневренную политику австрийского правительства и признаки его расположения в 1845 г. к Загребу.

Что касается литературных известий, которые занимали основное место в сообщении, Дубровский особо отметил выход трех выпусков журнала «Коло», который он характеризовал как «прекрасное и важное издание», и публикацию в нем текста «Закона Винодольского» с историко-филологическими комментариями А. Мажуранича. «Особенною деятельностью в этом сборнике, — писал Дубровский, — отличался г. Враз, благонамеренный славянин, молодой ученый человек, одаренный замечательным поэтическим талантом» [7, 1845, ч. V, № 9, с. 80]. Дубровский справедливо подчеркнул ведущую роль в «Коло» Станко Враз.

К числу «замечательных книг», вышедших в 1844 г., был отнесен альманах «Искра», «составленный из прекрасных статей». Дубровский особо выделил историческую повесть Вукотиновича «Щитоносец», по его словам, «лучшее произведение в беллетристике южных славян». Упомянув об издании Кукулевичем-Сакцинским в переводе стихотворного сборника Н. Томмазо «Искорки», он писал: «...Это поэтические размышления, согретые любовью к отечеству. Много в них мыслей новых и смелых» [7, 1845, ч. V, № 9, с. 81].

⁴ Речь шла об А. Кузманиче — профессоре в Задаре.

Дубровский сообщал об императорском разрешении на учреждение в Загребской академии, высшем учебном заведении, кафедры «отечественного языка» и литературы, о капитале и издательской деятельности Матицы, об организации читален в городах Хорватии и Славонии [7, 1845, ч. V, № 9, с. 84, 85].

Важной новостью из Далмации, где, по словам Дубровского, «также ожил народный дух», было издание «Зоры далматинской». Сообщая об этом, он писал: «*Заря* имеет многих сотрудников, молодых людей с талантом... Большие надежды подает о себе поэт Прерадович, которого собрание стихотворений вскоре выйдет» [7, 1845, ч. V, № 9, с. 81].

Как и другие материалы, это обозрение характеризовалось насыщенностью фактическими сведениями об иллиризме и заинтересованностью в подъеме хорватской культуры. Но оно выделялось отражением политического аспекта иллирийского движения и моральной поддержкой борьбы хорватов за национальные права.

В том же году Ригельман опубликовал в «Москвитянине» «Письмо из Вены. О славянских новостях». Оно было отмечено свойственным славянофилам противопоставлением православия католицизму. Касаясь иллиризма, Ригельман писал о «притязаниях мадьяр» и отпоре им со стороны хорватов, о смягчении политики австрийского правительства в отношении последних, что получило выражение в разрешении на открытие в Загребской академии «кафедры славянских языков»⁵, ослаблении цензуры в Загребе, допущении в литературном смысле понятия «Иллирия» [7, 1845, ч. VI, № 11, с. 40—41].

Сведения о хорватской литературе Ригельман, по его словам, почерпнул в основном из письма Врза, опубликованного в журнале «Часопис českého muzeum». Ригельман отмечал важность издания загребской Матицей сочинений «знаменитых старых дубровчанских поэтов». О вышедшей поэме «Осман» он писал: «Это замечательное произведение по совершенству стиха и художественной простоте образов может стать наряду с первоклассными эпическими произведениями других народов и заслуживает критического изучения» [7, 1845, ч. VI, № 11, с. 42]. Ригельман сообщал также, что за счет Матицы вышла из печати трагедия Деметера «Тевта» («Теута»), «возбуждавшая общее внимание» [7, 1845, ч. VI, № 11, с. 42]. Письмо Ригельмана расширяло информацию об иллиризме. Но оно было отмечено славянофильской тенденциозностью.

В 1846 г. в «Москвитянине» дважды выступал Дубровский с письмами-обозрениями, в которых содержались культурные новости из хорватских земель. В первом из них говорилось о создании в Загребе общества патриотов с целью покупки «на акциях» дома для размещения музея, читальни и хозяйственного общества. Коснувшись национального театра, Дубровский писал, что он «приходит в лучшее состояние». В числе литературных новостей Дубровский сообщал о выходе «Славонских городских песен». Особого внимания, по его мнению, «заслуживало объявление об издании „Иллиро-немецко-итальянского словаря“ И. Дробнича. «Необходимость подобного словаря в настоящее время, — говорилось в письме, — очень чувствительна. Он будет издан народным Загребским обществом для чтения на иждивении его книжной матки. Г. Дробнич посвятил несколько лет на собрание слов, читая иллирские газеты... и книги, вышедшие в последнее время. При этом он пользовался также всеми старыми и новыми иллирскими словарями, наконец, употребил в дело также небольшой словарь, приложенный к поэме Гундулича «Осман», которая издана на иждивении Народной Иллирской Матки. Главная редакция этого словаря поручена профессору Ан. Мажураничу» [7, 1846, ч. II, № 4, с. 177—178]. Дубровский показал важность и солидность словаря Дробнича.

Отмечая во втором письме-обозрении живость литературной деятельности у хорватов, Дубровский остановился на «Всеобщем загребском календаре» 1846 г. Его редактором был С. Врбанчич. «Богатство и занимательность содержания этого календаря...», — писал Дубровский, — пока-

⁵ В действительности — кафедры национального языка и литературы.

зывает, что составитель его хорошо знает потребности своего народа и умеет удовлетворить их» [7, 1846, ч. V, № 9—10, с. 184]. В календаре была напечатана, в частности, в переводе повесть А. С. Пушкина «Выстрел». Здесь же была опубликована историческая работа Ф. Жерявича «Черты из хорватской истории», которую Дубровский характеризовал как «прекрасную статью». По его мнению, особого внимания в ней заслуживало «объяснение нынешнего политического состояния Хорватии, Славонии и Далмации» [7, 1846, ч. V, № 9—10, с. 184]. Дубровский уловил направленность хорватской исторической мысли.

Касаясь книги А. Немчица-Гостовинского «Путевые мелочи», Дубровский писал: «Она очень напоминает сентиментальное путешествие Стерна, но при всем том, в ней нет ничего заимствованного из этого английского писателя; это сочинение самобытное и совершенно оригинальное». Дубровский характеризовал сборник «Острожинская вила» как «собрание прекрасных песен Огняна Острожинского, ознаменованных печатью истинного народного духа» [7, 1846, ч. V, № 9—10, с. 185]. Дубровский подчеркивал самостоятельность и высокий художественный уровень новой хорватской литературы.

В письме сообщалось о выходе первой части словаря Дробича, издания дубровницких классиков, переводческой деятельности литературного кружка при Загребской семинарии. Заметным событием в жизни Загреба в 1846 г. была премьера оперы Лисинского «Любовь и злоба». Сообщая об этом, Дубровский писал, что «общество приняло ее с шумным восторгом» [7, 1846, ч. V, № 9—10, с. 186].

Дубровский обращал внимание на выход в Задаре «по новому правописанию» первой книги «Народной библиотеки», которая включала «знаменитый Качичев Разговор словинского народа», стихотворных сборников А. Видович, сочинений дубровницкого классика Гекторовича и песен «любимого иллирского поэта Прерадовича». Журнал «Зора далматинска», продолжал Дубровский, «печатается теперь по новому органическому правописанию» [7, 1846, ч. V, № 9—10, с. 186]. Он сообщал также о переходе на новое правописание газеты «Новице»⁶. «И так юго-западные славяне, — с удовлетворением констатировал Дубровский, — более и более сближаются между собою» [7, 1846, ч. V, № 9—10, с. 186]. Сплочение славян рассматривалось как предпосылка упрочнения их позиций.

Показательно, что реакционные журналы — «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского, «Сын отечества» Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча — вообще не писали о хорватском национально-освободительном движении, хотя Ф. В. Булгарин пользовался правом публикации политических материалов.

Основные русские журналы демократического, либерального и консервативного направлений в 40-х годах XIX в. регулярно помещали материалы об иллиризме. Они информировали, хотя с разных позиций, русское общество о национально-освободительном движении в Хорватии, Славонии и Далмации, опираясь в первую очередь и главным образом на хорватские источники. Были названы ведущие деятели иллиризма, раскрыта литературно-языковая реформа Л. Гая, дана характеристика периодических изданий, представлены основные произведения новой хорватской литературы, затронуто театральное движение, отмечено зарождение хорватского национального музыкального искусства, показана деятельность различных обществ. В силу условий частной издательской деятельности в России журналы систематически и обстоятельно знакомили русское общество с культурной стороной хорватского национально-освободительного движения. Русские журналы показали высокий уровень и оригинальность новой хорватской культуры. Сведения о политической борьбе в Хорватии, проникавшие в журнальную печать, были беглыми и отрывочными. Информация касалась в первую очередь Хорватии, в меньшей мере Славонии и Далмации, что соответствовало степени развития иллирийского движения в отдельных хорватских землях. Печать отмечала влияние объединительных идей иллиризма на других югославян.

⁶ Словенская газета, издававшаяся Я. Блейвейсом в Любляне.

Русские журналы связывали иллиризм с пробуждением «народности». Однако ее толкование разными идейными направлениями было неодинаково. Прогрессивная печать характеризовала народность как индивидуальность в общем русле развития человечества, подлежащего действию единых законов. Она представляла русскому обществу иллиризм с позиции вклада каждого народа в мировую цивилизацию, вселяла уважение к национальным достижениям хорватов как достойных и равноправных членов европейского мира. Сборник славянофильского направления и печать, пропагандировавшая официальную триаду «самодержавие, православие и народность», толковали народность у славян как проявление их исключительности. Материалы об иллиризме в славянофильском освещении в известной мере служили аргументом в пользу «самобытного развития славян», в консервативных изданиях — использовались для поддержки официальной народности.

Общественное значение освещения иллиризма русской печатью разных направлений в плане воздействия на русское общество было неравнозначно. Прогрессивная печать, обращаясь к хорватскому национально-освободительному движению, не только расширяла кругозор русского общества, но и пропагандировала в нем на примере развития хорватского народа новые общественные идеалы. Консервативные журналы использовали славянский материал для воздействия на читателей в охранительном духе.

Русские журналы с разных позиций проявляли заинтересованность в национальном пробуждении хорватов и одобряли объединительную направленность иллиризма. Позиция русской журналистики, в первую очередь прогрессивной, была моральной поддержкой хорватского национально-освободительного движения. Печать, исключая реакционную, реализовала в свойственных ей формах надежды, возлагавшиеся ведущими деятелями иллиризма на Россию. С особым удовлетворением русские журналы отмечали проявления симпатий со стороны хорватов к России. Печать содействовала укреплению дружественных русско-хорватских связей.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Лециловская И. И.* Иллиризм. К истории хорватского национального Возрождения. М., 1968; *Рудяков П. О. М.* Бодянський і хорватська культура. — Радянське літературознавство, 1983, № 7; *Vadalić J.* Ruski pisci u književnosti hrvatskog prerođoda. — Hrvatsko kolo, 1946; *Живанчевић М.* Враз и Срезњевски. — Сборник Матице српске за књижевност и језик. Нови Сад, 1967, књ. XV/2; *Живанчевић М.* Срезњевски на Словенском југу. — Летонис Матице српске. Нови Сад, 1980, књ. 3; *Живанчевић М.* Преписка Срезњевски — Враз. — Сборник за славистику. Нови Сад, 1980, књ. 19; *Живанчевић М. И. И.* Срезњевски према илirском покрету. — Сборник за славистику. Нови Сад, 1982, књ. 22; *Живанчевић М. О. М.* Бојански на словенском југу. — Сборник за славистику. Нови Сад, 1983, књ. 25.
2. История русской журналистики XVIII—XIX вв. М., 1973.
3. Отечественные записки.
4. Современник.
5. *Лециловская И. И.* Концепции славянской общности в конце XVIII — первой половине XIX в. — Вопросы истории, 1976, № 12, с. 88.
6. Московский литературный и учебный сборник, 1846.
7. Москвитянин.
8. *Францев В. А.* Письма к Вячеславу Гайке из славянских земель. Варшава, 1905, с. 964—965, 992—995, 996—999.



СТАХЕЕВ Б. Ф.

РОМАНТИЗМ В ЗАРУБЕЖНЫХ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРАХ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭПОХИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИЙ

В нашем литературоведении послевоенных лет вырисовывалась как одна из недостаточно изученных, но важных для разработки общей концепции европейского литературного процесса проблема романтизма в зарубежных славянских странах (и шире — во всем регионе Центральной и Юго-Восточной Европы), значительности его вклада в общее литературное развитие, своеобразия, отличий в облике, путях становления и судьбах от романтизма в литературах Западной Европы, где он впервые сложился как направление. У нас попытки отметить его особенности в славянских литературах, взятых как целое, относятся еще к 50-м годам [1; 2]. В дальнейшем об этих особенностях говорилось и в трудах, посвященных европейскому романтизму, и в историко-теоретических статьях [3, с. 7—50, 51—89; 4; 5]. Труд, в котором были бы детально прослежены развитие и своеобразие романтизма у всех зарубежных славян без исключения пока не создан (возможно, некоторой компенсацией этого пробела станут соответствующие страницы VI тома «Истории всемирной литературы», где литературы зарубежных славян рассматриваются в единстве с другими литературами Центральной и Юго-Восточной Европы). Вместе с тем период романтизма в большинстве зарубежных славянских литератур охарактеризован с большей или меньшей степенью подробности в обобщающих историко-литературных трудах [6—9]. Имеются попытки типологических характеристик и сопоставлений применительно к отдельным славянским литературам [10]. Общие закономерности и этапы развития, проблемы, существенно важные или мало разработанные, освещены на материале национальных литератур (а отчасти и региона в целом) в специальном коллективном исследовании [11]¹. Как органическая часть проблематика романтизма присутствует в трудах по истории культуры [13—16].

Преждевременно, как представляется, думать об окончательном подведении итогов сделанного. Но можно, пожалуй, осмыслить некоторые выводы, сформулированные в имеющихся работах, и вырисовывающиеся ныне задачи. Отдельные из наметившихся вопросов автор хотел бы здесь затронуть.

Прежде всего, в проведенных исследованиях на первый план выдвигаются, как правило, мировоззренческие проблемы, явления, свидетельствующие о состоянии и поисках общественной и художественной мысли, общие вопросы литературного процесса. Происходит это не только потому, что часть названных выше работ выполнена в рамках крупной комплексной (разрабатываемой вместе с историками и культуроведами) проблемы «Народы Центральной и Юго-Восточной Европы в период перехода от феодализма к капитализму». Дело в том, что именно в сфере мировоз-

¹ Этой книге предшествовала работа [12].

зренческого содержания и общественной функции романтизма наиболее наглядно выступают его особенности.

Среди этих вопросов (их первоплановая роль естественна на этапе национальной консолидации и освободительной борьбы славянских народов) можно назвать отражение в литературе пробуждаемого, модифицирующегося и крепнущего национального самосознания, его особенности, оказавшие определяющее влияние на облик романтизма; специфику и «механизм» становления в изучаемом регионе национальных литератур нового времени и нового типа (как части культуры складывающихся наций); становление современного мировосприятия и мышления; роль собственной исторической и культурной традиции (очень часто недооценивавшейся, особенно исследователями, склонными трактовать славянский романтизм исключительно как плод взаимодействия с аналогичными или сходными явлениями в западноевропейских литературах); соотношение между зависимостью и самостоятельностью литературного развития, существенно важное для литератур, в этом развитии несколько запоздавших (что ощущалось и подчеркивалось их обновителями), но зато имевших возможность опереться не только на свой собственный социальный, мировоззренческий и культурный опыт, но и на опыт более передовых стран и более богатых (для того момента) литератур, аналитически воспринять его, соотнести его с отражением собственной социально-культурной перспективы, с приемлемыми и нежелательными ее компонентами.

Исходным пунктом в определении специфики романтизма в славянских странах выступает его социально-историческая обусловленность. Речь идет о литературном развитии в тех странах, которые еще не прошли стадию победоносных буржуазных революций, ломки или отмирания феодальных институтов, ликвидации национального гнета, создания национальной государственности, а в ряде случаев и территориального единства. Этот факт был расценен как определяющий еще в 50-е годы [1, с. 6—9]. Дальнейшая исследовательская работа показала, что эта общая социально-историческая особенность хоть и позволяет выделить некоторые сходные моменты в облике зарубежного славянского романтизма, но не может исчерпать характеристики литературного развития, определившего становление романтизма. Необходим дальнейший анализ дифференцирующих факторов, таких, как многогранность или сравнительная односторонность национальной культурной традиции, не прерывавшейся в своем существовании даже при наличии периодов спада; широта или узость ее связанности с общеевропейским литературным процессом; наличие или отсутствие выработанного литературного языка, условия общественной и культурной деятельности, зависящие, как правило, от характера национального гнета; полнота или неполнота социальной структуры. Такая дифференциация необходима, разумеется, при рассмотрении не только романтизма, но и предшествующей ему литературной эпохи, в которой коренятся его истоки [12, с. 6—8, 12, 17—18, 21—24, 97—98, 171].

В сравнительно недавних исследованиях значимость этих дифференцирующих факторов применительно к отдельным литературам выделялась довольно настойчиво. О важной роли культурной традиции говорят авторы работ о польской и чешской литературах [12, с. 67—68, 123—124, 131—132, 159, 105—106, 117; 11, с. 24—45]. Весомость проблемы литературного языка подчеркивается в работах о хорватской и словацкой литературах [12, с. 247—248, 251, 275; 11, с. 107—113]. Развитие литературы в условиях самого жестокого иноземного гнета прослеживается на болгарском материале [11, с. 217—249]. Отмечается связь литературного развития со спецификой социальной структуры, определявшей как стремления зачинателей новой литературы, так и читательский круг, к которому они обращались [12, с. 98—99].

Показательно, что о плодотворности такого рода дифференциации для типологии европейского романтизма говорят и исследователи, стремящиеся охватить материал всех литератур Европы. Так, например, И. Г. Неупокоева, настаивая на необходимости расширения «пространства» европейского романтизма, обращения к «значительным и своеобраз-

разным богатствам романтической литературы ряда славянских народов, народов Центральной и Юго-Восточной Европы, Балканских стран, европейского Севера», подчеркивает, что «исторически сложившийся романтический тип художественной культуры не монолитен», что он имеет «свои отчетливые национальные и зональные „вариации“», что необходимо изучать «зональные типы романтического литературного развития XIX столетия» [3, с. 10, 14]. Бесспорность такого подхода обосновывается делением стран, где проявилось себя литературное движение романтизма, на три группы: а) страны с обозначившимися противоречиями буржуазного общества; б) страны с замедленным капиталистическим развитием, по с непрерывной литературной традицией; в) страны с длительным периодом феодального господства, стоящие перед необходимостью возрождения литературного языка и культуры. Названные работы по истории славянских литератур дают достаточно широкую базу дифференцирующей трактовки европейского романтизма. Литературы нашего региона в период формирования нации (обусловившего специфику романтизма) относятся к двум последним из названных вариантов.

В диалектическом соотношении общеевропейского, регионального и специфически национального романтизм в славянских странах выступает как наследник эпохи Просвещения (прежде всего там, где она охватила более или менее длительный период). Уже на просветительском этапе (предшествует ли он романтизму в конкретной национальной литературе или как бы «переплетается» с ним) проявляются стремление преобразовать усвоенные передовых европейских идей (а в художественном творчестве — жанров, образов, приемов) в пафос национального самоутверждения (или дополнить таковым), избирательность по отношению к приходящему извне, желание как можно скорее перейти к поискам своего, самобытного.

Предромантическая литературная эпоха в ряде отношений основательно подготовила романтизм к самостоятельным поискам, оставила ему ценный материал, который впоследствии использовался в художественном плане: исторические труды, публикации произведений народного творчества, усовершенствования в области языка и стихосложения (хотя многое и в этом направлении литераторам-романтикам пришлось «доделывать»).

Это обстоятельство представляется закономерным и существенно важным потому, что в странах изучаемого региона (по крайней мере в большинстве из них) Просвещение и романтизм выступают как два неразрывных звена той эпохи, которая именуется национальным возрождением². Конечно, далеко не во всех странах мы имеем дело с эпохой Просвещения как «веком философии». Но просветительство выступает как необходимый компонент развития во всех странах региона. При этом даже в тех случаях, когда мы имеем дело с просветительством, не развившимся в целую эпоху просветительской мысли и культуры, сопоставимую по богатству с Просвещением в других странах, исследователи указывают на национальную специфику этого явления³, на идеологическую идентич-

² Не совсем удачен этот термин применительно к Польше, так как здесь на эпоху Просвещения приходится отнюдь не возрождение, а ликвидация национальной государственности (что наложило отпечаток и на отношение польских романтиков к этой эпохе), так как «время культурно-идеологической активности (XVI—XVII вв.) не ощущалось как отдаленное (см. [12, с. 97—98]). Но отдельные историки-полонисты (см. [17]), отмечая, что разделам Польши предшествовало развитие передовых реформаторских стремлений, резкое оживление и модернизация политических институтов, общественной мысли и культуры, считают термин «национальное возрождение» допустимым (пусть с оговорками) и в данном случае. Интересно в этой связи замечание К. Маркса, который писал: «С польских сеймов 1788 и 1790 гг. начинается *возрождение польского народа*, которое отныне идет наравне с распадом *польского государства*». Восстание 1794 г., отмечает Маркс, «по необходимости совпало с попыткой *внутреннего государственного переворота, политической революции, социального возрождения*» [18].

³ Это относится не только к славистам. Ю. А. Кожевников, например, «румынское просветительское мышление» призывает «рассматривать как просветительство национальное (вовсе не в практическом, а в философском понимании этого слова), как этап становления национального самосознания, который был ознаменован переходом от религиозного к светскому, рационалистическому мышлению» [12, с. 211].

ность раннего возрождения и Просвещения. Так, И. И. Калиганов, характеризуя деятельность «представителей национального возрождения» в Болгарии, «национальных просветителей», отмечает, что она «по сути дела, была просветительской» и «сыграла огромную роль в пробуждении национального сознания», говорит о «процессе болгарского возрождения — Просвещения», о «болгарском возрождении, совпадающем по содержанию и идеологической направленности с Просвещением» [12, с. 202—203]. Исследователи польского Просвещения, наиболее развитого в зарубежном славянском регионе и, пожалуй, теснее всего связанного с Западом, отмечают и его утилитарный характер, «приспособленность» к национальным целям, основанную на стремлении использовать просветительские идеи для оздоровления национального государства, повышения патриотической и гражданской сознательности соотечественников [12, с. 130].

Зависимость романтизма от просветительского наследия все с большей настойчивостью отмечается в работах литературоведов-зарубежников. «Хотя романтизм в существенных своих чертах, — писала И. А. Тертерян, — был реакцией на Просвещение, хотя в теоретических выступлениях романтиков (не всех, но многих) бушует пафос размежевания с предшественниками, отказа от ведущих идей Просвещения и ниспровержения всех норм и предписаний классицизма, все же на деле романтики больше взяли, чем отбросили из наследия XVIII века» [5, с. 155—156]. Факты из истории зарубежных славянских литератур (и литератур Центральной и Юго-Восточной Европы в целом) не просто подтверждают это обстоятельство, а дают (за сравнительно немногими исключениями) пример связи с ближайшей традицией — более тесной, чем где бы то ни было. Так было потому, что в странах этого региона проявления феодальной эпохи были сильнее, нежели в других ⁴. Так было потому, что романтизм был здесь литературным течением эпохи формирования наций — и принадлежность к этой эпохе связывала его с идеями национального просветительства. Поэтому здесь оказалось возможным довольно длительное сосуществование направлений, вышедших из Просвещения, и романтизма ⁵.

Обращаясь к истории отдельных зарубежных славянских литератур, исследователи почти всегда отмечают это сосуществование (например, А. В. Липатов [12, с. 160], С. В. Никольский [12, с. 114], Р. Ф. Дороница [11, с. 143], М. Г. Чемоданова [11, с. 219]).

Если взять в качестве примера польскую литературу, где направления, рожденные в XVIII в., получили, пожалуй, наиболее полное развитие, мы увидим, что рассмотрение их оказывается необходимым и при характеристике эпохи Просвещения, хорошо укладывааясь в ее контекст и тогда, когда она — при учете значительности и влиятельности позднего просветительства — распространяется на первые десятилетия XIX в., ⁶ и при рассмотрении генезиса романтизма, с которым классицизм вступил в сложные отношения взаимосвязи и противостояния ⁷ и особенно тесно взаимодействовали сентиментализм и предромантизм (на практике друг от друга трудно отделимые ⁸). И когда И. Шетер решительно настаивает, что не следует выводить предромантизм за рамки Просвещения [3, с. 54—55], этот тезис вполне совместим с концепцией сосуществования Просвещения и романтизма в зарубежных славянских литературах, сосуществования, в котором были и элементы эстетического (и идеологического) противостояния, и несомненные элементы преемственности и родства, основанные

⁴ Они были сильны и в странах Западной и Южной Европы (Испания, Португалия и др.), что лишь подтверждает мысль о необходимости дифференцированного подхода к романтизму в литературах и этого региона.

⁵ И. Шетер считает этот факт важным для развития романтизма в ряде европейских литератур [3, с. 69].

⁶ А. В. Липатов [12, с. 154] считает восстание 1830—1831 гг. вехой, замыкающей Просвещение, «точнее — время его преобладания».

⁷ На романтическом этапе развития наличие «взаимосвязи с предшествующим периодом, но одновременно и противопоставление ему, связанное с общеевропейской устремленностью к собственной, национальной стихии» [19, с. 69].

⁸ О критериях их разграничения (а также предромантизма и романтизма) пишет А. В. Липатов [10, с. 86—107].

на единой исторической обусловленности, на принадлежности к одной эпохе, связанной с формированием нации. Эта преемственность распространяется, как правило, и на использование унаследованных от старых направлений художественных форм. Противостояние классицизму весьма наглядно (польская литература), но не безусловно, ибо легко обнаруживаются (скажем, у автора «Оды к молодости») элементы преемственности, в том числе художественной, жанрово-образной. Еще заметнее генетическая связь с сентиментализмом (в польском романтизме ее отмечал уже автор «Баллад и романсов»). Предромантические явления трудно отделимы подчас (например, в чешской литературе) от раннего романтизма⁹.

В международной литературной ориентации польского романтизма на этапе становления нового направления существенную роль играют не только (даже не столько) «готовые образцы» западного романтизма (Байрон и др.), но и — в первую очередь — идеи и произведения ближайших предшественников (Руссо, Гердера, Шиллера, Бюргера и т. д.), идея от которых польские романтики пытались создать его своеобразную национальную интерпретацию.

Трудно, однако, согласиться с крайними выводами, которые из отмеченных выше фактов делаются подчас в работах о романтизме. И. Шетер, например, весьма убедительно раскрывая связь романтизма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы с литературой «бури и натиска», склоняется к тому, чтобы вообще не выводить романтизм в этом регионе из рамок, которые были определены штюрмерским движением, и ссылается на то, что большинство романтиков, представлявших указанные литературы, отрицательно отнеслись к эстетическим принципам Шлегелей, Шеллинга и др. [3, с. 51—52]. В историко-литературных построениях важны, конечно, не только распространенность, но и значимость, завершенность, развитость тех или иных явлений. И тут вновь уместно сослаться на наиболее богатый (в данном регионе) польский романтизм, основоположник которого, Мицкевич, Шлегелей знал, как знал их и использовал в своих построениях виднейший теоретик польского романтизма М. Мохнацкий, в еще большей степени испытавший воздействие натурфилософии Шеллинга. Весьма заметно влияние немецкой эстетики, в том числе романтической, и на раннем этапе развития словацкого романтизма [9, с. 42, 48, 84—85].

Особенно наглядна грань между продолжением традиций «бури и натиска» и романтизмом в тех случаях, когда последний выступает в роли национального мировоззрения, выливается в попытки создания своеобразной «национальной философии», охватывает другие роды искусства, и общественную мысль (что особенно ярко проявляется в Польше). Несомненна эта грань и там, где мы сталкиваемся с восприятием действительности, родственным миропониманию ведущих европейских романтиков («байронические веяния» в ряде славянских литератур) или просто с использованием тех художественных средств и жанров, которые имеют несомненную романтическую генеалогию. В литературах региона связь романтизма с общеевропейским литературным движением выражалась не обязательно через отношение к немецкому романтизму: в ряде случаев последний оттеснялся на второй план восприятием других ценностей (английская романтическая поэзия, французская романтическая проза и т. д.).

Упомянем, что генетическая связь романтизма с национальной традицией, конечно, не ограничивалась обращением к ближайшим предшественникам. Автор данной статьи имел случай говорить о связи польского романтизма с отечественной традицией, охватывающей не только Просвещение, но и средневековые, Возрождение, барокко [11, с. 23—52]. Вопрос об актуализации художественных ценностей прошлого (не только в польской литературе и не только в эпоху романтизма) он также попытался затронуть [19, с. 313—325].

⁹ С. В. Никольский [12, с. 114—116] ряд особенностей литературы национального возрождения определяет как характерные и для предромантизма и для романтизма.

Наличие и весомость обращения к национальной традиции — во всей ее протяженности — на всех этапах литературного развития (а в литературе эпохи формирования нации такое обращение имело особую важность, ибо доказывало духовную готовность нации к борьбе за самостоятельность культурную, а вместе с тем — или в перспективе — и политическую, выступало как бы в роли гаранта ее прав на существование духовное и физическое) позволяет, как представляется, отметить некоторую условность встречающегося в нашей литературе применительно к концу XVII и XIX в. термина «формирование национальной литературы» (или культуры).

Если рассматривать национальную литературу (и культуру) как совокупность художественных ценностей, к которым обращаются и творцы культуры, и те, кто эти ценности воспринимает, то правильно будет видеть процесс формирования национальной литературы (и культуры) как процесс длительный, охватывающий и предшествовавшие нации этапы развития этноса. Процесс художественного осознания мира может в разных конкретных случаях иметь более или менее интенсивный характер, оставить более или менее богатое, более или менее близкое человеку XIX в. наследие. Но наличие этого процесса и его результатов (как в письменной, так и в устной традиции) было тем необходимым компонентом, тем концентрированным выражением национального самосознания, без которого о формировании нации и ее культуры говорить просто не приходится. В наличии этих духовных ценностей и проявляются те «черты национального своеобразия», которые, по мнению Д. С. Лихачева, «начинают складываться постепенно: еще до образования национальности и нации» [20].

Такая точка зрения отнюдь не умаляет значение перелома в литературном развитии, который происходит на этапе формирования нации в зарубежных славянских литературах (и литературах всего данного региона): литературу пронизывает новое, более современное мышление, в нее входят новые (или видоизменяемые по сравнению с прошлым) жанры, художественные средства и формы, расширяется читательский круг (хотя и не сразу он охватит нацию в целом), меняются отношение к литературному труду и взгляд на литературу, возникает иной тип творца литературных ценностей, средства распространения литературы приобретают иной, отвечающий новым потребностям характер, «механизм» функционирования литературы меняется в корне¹⁰. Это дает основание говорить о преобразовании литературы, о становлении национальной литературы нового времени¹¹. Романтизм в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (продолжая начатое Просвещением) принимает в становлении этой литературы самое деятельное участие и в этом плане вносит заметный вклад в процесс формирования нации.

Соотношение между романтизмом и литературой предшествующей эпохи во многом аналогично и соотношению между романтизмом и реализмом в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы, где формирование наций, массового национального самосознания, завершившееся в ряде случаев только в первые десятилетия XX в., пришлось на то время, когда в литературах Европы реализм проявился со всей полнотой. Поскольку ни в одной из стран региона литературное развитие не было отгорожено от общеевропейского, закономерным было зарождение в литературе реалистических тенденций, иногда генетически связанных с направлениями, унаследованными от XVIII столетия, иногда вырастающих на романтической почве. Наблюдается сосуществование (даже в самой

¹⁰ На примере польской литературы автор коснулся этих вопросов в главе коллективного труда [21, с. 141—152].

¹¹ В России еще в романтическую эпоху установились термины «старая» и «новая словесность» (А. А. Бестужев и др.). Современные русисты в одинаковом значении употребляют термины «литература нового времени» и «новая литература». При этом подчеркивается: «Петровская эпоха по праву считается переломной в культурном развитии России. По одну сторону этой межи лежит древняя литература, по другую — новая. Однако это не две разные литературы, а одна литература» [22, с. 408].

«романтической» из литератур региона — польской) романтизма и реализма (поначалу скорее в виде тенденций, не обязательно выходящих на первый план) на протяжении ряда десятилетий XIX в. Оно имеет место в творчестве ряда отдельно взятых писателей, иногда (как, например, в «Пане Тадеуше» Мицкевича) даже в одном произведении. При этом реализм может складываться поначалу (так было в Польше до 1863 г.) как бы в тени романтизма, захватывая преимущественно те жанры, на которые не претендовало господствующее направление, а может войти в литературу одновременно (или почти одновременно) с романтизмом, с тем, чтобы довольно быстро возобладать над ним (как было в болгарской литературе), что не исключало впоследствии проявления романтических (неоромантических) тенденций уже при общем преобладании реализма.

Факт сосуществования двух крупнейших литературных направлений XIX в. отмечается многими историками литературы [3, с. 23, 87; 5, с. 157]. Не до конца выяснен, пожалуй, лишь вопрос об оценке историко-литературной роли романтизма: был ли он в литературах рассматриваемого региона только подготовкой к становлению и торжеству реализма, явившегося почвой, на которой родились главнейшие художественные ценности XIX в., или может претендовать с этой точки зрения на равнозначность с реализмом? Если брать зарубежные славянские литературы в целом, развитие их не дает однозначного ответа на этот вопрос. Другое дело — литературный процесс в отдельно взятых странах. История польской литературы XIX в. (а также ряд фактов литературного развития и восприятия художественных ценностей в следующем столетии) являет пример того, как романтизм стал на длительное время доминантой в культурной традиции.

В большинстве зарубежных славянских литератур романтизм длительное время соответствовал общественному настроению, порождаемому потребностями национально-освободительного движения, переживал периоды взлета, упадка, нового взлета. В польской литературе он сформировался в 20-е годы, к 30—40-м относятся его высшие достижения. Но и позднее его присутствие было заметным, особенно в поэзии (в прозе романтизм проявил себя с гораздо меньшей полнотой), хотя был представлен в 50—70-е годы явлениями либо менее яркими, либо в стиливом плане полемическими по отношению к принципам основоположников и корифеев, но связанными с ними не только генетически, но и мировоззренчески, единым пониманием общественного назначения искусства (Норвид). Можно сказать, что классический романтизм здесь почти смыкается (существуя с той линией развития, которая представлена реалистической в своей основе поэзией Сырокомли, Конопницкой, молодого Каспровича) с неоромантическими тенденциями рубежа XIX—XX вв., проявившимися в творчестве ряда представителей «Молодой Польши».

В чешской литературе вершиной романтизма признается творчество К. Г. Махи (30-е годы), но и 50-е годы отмечены такими яркими образцами романтизма, как «Букет» К. Г. Эрбена, ранняя поэзия Я. Неруды, В. Галека и др. [7, с. 113, 157]. В сербской литературе «своих вершин романтизм первой половины XIX столетия достигает к 1847 г., когда выходят в свет произведения Б. Радичевича и П. Пегоша», но он успешно развивается и во второй половине века: «начало этого нового этапа связано с 50-ми годами, его главные достижения относятся к 60-м — первой половине 70-х годов, в некоторых случаях высокие образцы романтического творчества появляются даже в 80-е годы» [11, с. 143, 175]. Если взглянуть на литературное развитие региона в целом, мы встретимся с фактами и сравнительно раннего зарождения и расцвета романтизма (Польша, из неславянских стран — Венгрия), и сравнительно позднего обращения к нему (Болгария).

В свете этих фактов приходится признать, что литературное развитие рассматриваемого региона не укладывается в схему, весьма категорично излагаемую некоторыми исследователями, согласно которой «романтизм как направление, господствовавшее в литературе ряда стран Европы первой трети XIX в., был вытеснен реализмом, и никакое усилие — даже

самое энергичное — его защитников не смогло предотвратить этого результата литературно-общественного развития. И более романтизм в литературу не возвратился — именно как целостное, тем более господствующее направление...» [23, с. 9]¹².

Долговечность существования романтизма в зарубежных славянских литературах — и различия в положении этих литератур — делали неизбежной его многовариантность, связанную прежде всего с временем становления, расцвета и спада романтизма в той или иной конкретно взятой литературе.

Мировоззренческая многовариантность романтизма проявлялась, однако, и внутри отдельных зарубежных славянских литератур. Она, разумеется, не укладывается в рамки практиковавшегося когда-то в нашем литературоведении упрощенного дихотомического деления. Так, польский романтизм отразил целое богатство тенденций в развитии общественной мысли, образовавшееся на почве национально-освободительного движения, отнюдь не единого в общественно-политическом отношении. Даже если романтических авторов различать по их отношению к повстанческому движению, то очевидно, что глубокие различия существуют внутри отдельных групп (Красиньский мало общего имеет с Жевуским и Грабовским, между поэзией в эмиграции и поэзией в стране 30—40-х годов трудно проводить параллели, хотя бы ввиду неравного художественного уровня). С учетом всего этого можно считать, что факты истории литературы в зарубежных славянских странах (и не только в них) подтверждают правомерность возражений против сведения романтизма к двум типам и установке перегородки между ними [4, с. 156—158]. Это не должно, однако, привести к умалению того влияния, которое оказала на романтизм в славянских литературах борьба идей и мнений. Так, например, мысль К. Маркса о двух реакциях на буржуазную революцию и просветительство (в рамках первой все виделось «в средневековом романтическом свете»; вторая «заключается в том, чтобы заглянуть за пределы средневековья в первобытную эпоху каждого народа» [24]) подтверждается, в частности, фактами из истории польского романтизма. Здесь мы встречаемся и с идеализацией феодальной старины (Жевуский, Польша и др.) и с обращением (под влиянием концепций И. Лелевеля) к легендарным дофеодальным временам славянского народоправства (Словацкий, Бервинский и др.) (см. [27]).

Весьма красноречивы и вполне обоснованы призывы рассматривать романтизм прежде всего в его художественной, жанрово-стилевой многовариантности [4, с. 168—189]. Можно с уверенностью сказать, что в советских работах содержится достаточный материал, позволяющий приступить к ее описанию; отчасти, применительно к отдельным литературам и даже к региону в целом, эта работа если не начата, то по крайней мере намечена. В целом, однако, историко-литературное «упорядочение» художественной многовариантности романтизма остается задачей на будущее. Пожалуй, пришло время задуматься о путях и границах этого «упорядочения».

То, что мы знаем о романтизме в зарубежных славянских странах, не внушает, пожалуй, надежд на реализацию предложения И. Г. Неупокоевой о выявлении зональных художественных систем (впрочем, исследовательница высказала его не очень настойчиво, сопроводив оговорками насчет незамкнутости литературного процесса, связи зональных систем между собой и типологического сходства между ними) [3, с. 13—23]. Более привлекательной представляется идея Д. Наливайко о выделении в романтизме художественных (жанрово-стилевых) течений. Материал зарубежных славянских литератур говорит, однако, о том, что применительно к данному региону наметить такие течения будет не так-то просто: легче, вероятно, классифицировать художественные (жанрово-стилевые)

¹² Во введении к книге вместе с тем признается: «Романтизм продолжал свое литературное бытие — это несомненно; но каковы были причины и особенности этого бытия — доживали ли свой век патриархи вымершего направления или имелись некие причины возрождения интереса к романтическим способам отражения мира — это остается нераскрытым» [23, с. 10].

тенденции. В творчестве большинства крупнейших славянских романтиков мы сталкиваемся с таким многообразием тенденций, что принадлежность любого из них к определенному течению явится весьма проблематичной¹³. Проще будет выделить «течения», говоря о второстепенных художниках, но чего будет стоить любая схематизация без учета в ней творчества корифеев романтизма?

Как известно, литературоведением не выработана (воздержимся от суждений об осуществимости подобной задачи) такая дефиниция романтизма, которая оказалась бы общеприемлемой. Зарубежный славянский материал не в большей степени, чем материал других литератур, приближает нас на нынешней стадии обобщения к решению такой задачи. Зато он решительно свидетельствует о трудности (если не о бесплодности, как говорит Д. Паливайко) попыток определить романтизм по одному его главному свойству или основному признаку [4, с. 163]. Перспектившим представляется изучение романтизма (в том числе и славянского) не как закрытой системы, а как диалектического, исторического процесса¹⁴.

Можно, однако, обращаясь к истории романтизма у зарубежных славян, говорить о том, что при анализе романтической литературы мы можем выделить то структурное ядро, которое можно считать определяющим сущность и своеобразие романтизма.

В самом общем виде мы можем утверждать, что такое структурное ядро — как об этом свидетельствует материал славянского романтизма — обязательно связано с новой, отличающейся от просвещенческой, концепцией мира и человека [7, с. 48—49; 8, с. 193—195, 108—200, 207—210; 9, с. 80—82; 11, с. 13—23]. Это структурное ядро не может быть, однако, охарактеризовано однозначно, а тем более упрощенно. В зависимости от стадии развития романтизма, от его конкретной национальной обусловленности в романтическом миропонимании выдвигаются на первый план различные его аспекты или компоненты. Некоторые из особенностей романтического мировидения, преобладавшие в западноевропейских литературах, оказываются в том или ином конкретном случае переходящими или вовсе необязательными, а иногда своеобразно интерпретированными.

Так, например, романтическая концепция «двоемирия» в славянских литературах XIX в. оказывается отнюдь не повсеместной. Даже в польской литературе, где она сыграла наибольшую, пожалуй, роль, влияние ее заметнее на ранней стадии развития романтизма и в литературе эмиграции, нежели в литературе самой страны 30—40-х годов. Интерпретация ее во многом своеобразна и связана с тем, что польский романтизм, развивавшийся на этапе формирования нации, достаточно далеко зашедшего, был в идейном отношении подчинен делам освободительного движения. Тезис о двоемирии польские поэты-мыслители связывали с движением народа, с обоснованием непрерывности его существования и неизбежности его «возрождения» уже благодаря существованию многовековой истори-

¹³ Д. Наливайко пишет о течении романтизма, «определяющей чертой которого является отчетливая ориентация на фольклор и народное искусство», называет выделенное им течение главенствующим не только в чешской, словацкой, сербской, хорватской, но и в польской литературе (хотя оговаривается, ссылаясь на Мицкевича и Словацкого, Красиньского и Норвида, что в последней «получили убедительное развитие и другие романтические течения» [4, с. 173, 174, 176]. Бросается, однако, в глаза, что «другие течения» представлены как раз поэтами, которые определили облик польского романтизма в целом, хотя, например, Мицкевича и Словацкого нельзя отгораживать от ориентации на фольклор (как нет оснований и признать у них эту ориентацию доминирующей). Польский романтизм не укладывается в схему доминанции одного из течений: его характер определяется как раз богатством различных художественных тенденций. В чешской же поэзии обращение к фольклору (в «гердеровском» духе) стало фактом уже в творчестве «будителей», имевшим скорее предромантический характер. Самый яркий чешский романтик К. Г. Маха из рамок «фольклоризма» явно вышел, и не случайно старшим современникам, «лишь иногда и, как правило, стихийно эмпирически выходящим за пределы проблематики национальных отношений» поэма «Май» показала «изменой этой традиции, а также традиции одно-сторонне поиятой пародности» [7, с. 90]. И в этом случае вряд ли правомерно отпесенить всего романтизма к одному течению.

¹⁴ Такой подход характерен для упомянутой здесь работы И. Шетера [3, с. 51—89].

ческой и культурной традиции. Этот тезис позволял считать играющими исключительно важную роль, влияющими на дела нынешнего реального мира ушедшие из жизни поколения предков, свершения и заветы прошлого. Важен он был и для романтических историко-философских построений, предусматривающих в будущем вмешательство ирреальных сил, которые призваны принести свободу Польше и человечеству [11, с. 19; 10, с. 27—63].

Важнейшую роль в становлении романтизма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы сыграло использование для обоснования нового взгляда на действительность того миропонимания, которое было связано с народным опытом и отразилось в фольклоре. Фольклор использовался двояко: и как художественный ориентир, и как обоснование романтической критики зарождавшейся буржуазной цивилизации, а также — что очень важно для понимания патриотической направленности романтизма — как обоснование существующего у нации исторического своеобразия, наличия определившегося духовного опыта и облика, выраженных в фольклоре. «Фольклор как аутентичное творчество народа, основного носителя национальной самобытности, нередко ставился даже выше индивидуального творчества современников. В нем видели сокровищницу философии народа, его морально-правдивых и эстетических представлений, художественного вкуса» [26, с. 19]. «В поисках эстетического идеала, — замечает И. А. Богданова, — словацкие романтики обращались к фольклору. Народное творчество воспринималось ими как выражение „народного духа“ и как естественный фундамент национально-самобытной литературы, как сокровищница богатых и древних народно-поэтических традиций» [9, с. 82]. В Сербии, как пишет Р. Ф. Доронина, «развивая традиции своих предшественников, поколение романтиков второй половины XIX столетия возвело в культ народное творчество» [11, с. 178]. Многоаспектным было использование фольклора в польском романтизме, начиная с «Баллад и романсов» Миккевича и кончая поэзией поздних романтиков [11, с. 21—22; 21, с. 148—149]. Как важную особенность развития романтизма в странах нашего региона отмечают первоначально роль фольклора (иногда даже впадая в крайности) также и те исследователи, которые пытаются в своих обобщающих суждениях охватить европейский романтизм в целом. Ранее было приведено мнение по этому вопросу Д. Наливайко. И. А. Тертерян не отрицает существования «фольклорного, или народного романтизма», однако не считает его (как и другие варианты романтизма) особым течением и не привязывает его исключительно к литературе указанного региона [5, с. 153, 180]. И. Г. Неупокоева с полным основанием отмечает: «В романтизме стран Центральной и Юго-Восточной Европы и Балкан опора на фольклорные традиции своих народов сочеталась с живым вниманием к освоению современного опыта европейской литературы» [3, с. 35]. Материал, изученный славистами, целесообразность такого подхода вполне подтверждает.

К сфере нового мировосприятия относится, разумеется, романтическое понимание истории. Нельзя не заметить, что в литературах зарубежных славян романтический историзм был тоже многовариантен. Он проявился в философско-исторических концепциях мирового развития, которые призваны были дать утешительный ответ на мучительные вопросы, связанные с национальной судьбой, обосновать пришествие новой эры в существовании человечества, когда национальные и социальные антагонизмы исчезнут (опять-таки момент, очень характерный для романтического сознания эпохи формирования нации) и утвердятся братство народов. Особенно много сил посвятили — и в поэзии, и в философских сочинениях — обоснованию своих историсофских концепций польские романтики [8, с. 277; 21, с. 149—150; 25] ¹⁵.

¹⁵ Тяга к познанию и объяснению исторического развития проявилась и в творчестве романтиков других славянских стран. «Общая закономерность умонастроений и представлений эпохи по-своему преломлялась и в сознании образованных кругов славянских народов, поддерживая их веру в развитие нации и в грядущую свободу. Рождался историзм художественного мышления...» [26, с. 24].

Другой гранью историзма было художественное изображение национального прошлого (иногда носившее апологетический характер, но подчас содержавшее и элементы критической оценки). Оно имело целью пробудить и укрепить (это подчеркивали и сами романтики, и их предшественники, тоже обращавшиеся к исторической тематике) национальное самосознание, активизировать общественные силы. «... На протяжении всей эпохи национального возрождения коллективными усилиями разных писателей совершается и синтез национальной истории (часто со значительной дозой избирательности и идеализации, отражавшей желание способствовать развитию определенных сторон исторической деятельности народа)» [12, с. 106]. По словам Р. Ф. Дорониной, «главным материалом» в осмыслении «комплекса актуальных вопросов, связанных с освободительной борьбой», у сербских романтиков служит «героическое прошлое сербского народа, пропущенное сквозь призму фольклора» [11, с. 177]. «Идея борьбы с иноземными угнетателями» словацкими романтиками, как пишет И. А. Богданова, «трактуются чаще всего на историческом материале», причем романтики «изображали историю и ее героев в духе своего национально-этического идеала героя-гражданина» [9, с. 82]. В польском романтизме напоминание о временах независимости служит укреплению национальных чувств, а зачастую является и поводом для высвечивания ошибок прошлого.

Важнейшим аспектом нового миропонимания, которое принес с собой романтизм, в литературах зарубежных славян, как и в других европейских литературах, была интерпретация отношений между миром и человеком. Со своими западными предшественниками и современниками представители зарубежного славянского романтизма сходились в общих моментах (таких, как новое понимание универсальности мирового развития, как тезис о равной неисчерпаемости мира и человеческой личности, и т. д.). Но особенно в рассматриваемых здесь литературах эпохи романтизма виден акцент на таком характере связей между миром и человеком, когда основным их звеном является национальная общность. Во всех литературах региона мы встречаемся, конечно, с общеромантическим протестом против ущемления и подавления прав личности. В польском романтизме он занял свое место, начиная с «Дзядов» Мицкевича и «Мариин Мальчевского, ранних поэм Словацкого. В Чехии К. Г. Маха обращается к «теме несчастий человека, причина которых находится где-то вне его самого» [7, с. 87]. В Сербии «у Радичевича понятие свободы распространяется и на личность, индивидуальность, и в этом заключена очень важная особенность его романтизма» [11, с. 169]. Но чаще все-таки личность в творчестве славянских романтиков трактуется как обусловленная в своей участи судьбою национальной общности. Если эта общность подавлена, угнетена, страдает и личность. Освобождение соплеменников — снова тезис, характерный для романтизма периода формирования нации, — рассматривается как неперемovable и первостепенное условие освобождения личности. Со всей мощью говорит об этом основоположник польского романтизма: и в «Конраде Валленроде», где герой «счастья в дому не нашел, ибо не было счастья в отчизне», и в дрезденских «Дзядах», герой которых «страдает и терпит муки за миллионы». «Романтический герой словацкой литературы в своем конфликте с действительностью выступает как представитель сил добра, утверждаемого национального начала [...]. В его натуре на первый план выдвигаются черты, объединяющие его с угнетенным народом» [9, с. 82]. «Сербский романтизм, наследуя идею свободы от просветителей, решал ее в характерном для романтической литературы других угнетенных славянских народов региона обобщенно-национальном плане, то есть как свободу для всего народа» [11, с. 169].

Отстаивая идею национального характера литературы, видя в нем условие и гарантию участия во всемирном художественном процессе, зарубежные славянские романтики демонстрировали этим живую связь и преемственность по отношению к романтизму в других европейских странах. Но в Центральной и Юго-Восточной Европе, в условиях нацио-

нального притеснения, вопрос о соответствии литературы национальным стремлениям стоял с особой остротой. Как непремное слагаемое художественного процесса в период формирования национальных литератур нового времени, романтизм выступает либо в качестве его завершающей — после Просвещения — стадии, либо в виде тенденции, переплетающейся с другими идеями, с поисками иного плана. В одном случае литературоведы говорят о нем только как о направлении, в другом он служит — в дополнение к этому — обозначением целой эпохи (Польша), в третьем исследователи предпочитают относиться к нему как к тенденции, в направление не сложившейся [11, с. 217—220]. Но везде в странах Центральной и Юго-Восточной Европы романтизм присутствует в литературном развитии и проявляет своеобразие, связанное с его (и литературы в целом) ролью в период формирования нации.

Закономерен вопрос: насколько и каким образом та специфика славянского романтизма, о которой шла здесь речь, отразилась в художественных решениях, жанровых исканиях, образно-стилевых особенностях? Поддаются ли эти художественные поиски обобщенной характеристике не только на национальном, но и на «региональном» уровне? Более или менее удовлетворительный ответ может быть дан в результате широких и вместе с тем детальных, затрагивающих разнообразные аспекты художественности, конкретных исследований. Сейчас будут уместны лишь предварительные замечания.

Несомненно, что мировоззренческо-эмоциональное содержание романтизма диктовало оригинальность поэтических исканий, предпочтение тех или иных жанрово-стилевых тенденций. Но различия, обусловленные такими «предпочтениями», не распространялись на литературы всего региона и не выливались в различие качественное. (В самом общем, суммарном аспекте мы, можем, допустим, отмечать определенное преобладание в творчестве зарубежных славянских романтиков поэзии и поэтической драмы, но не имеем оснований считать, что эти роды литературы приобрели в данном регионе особый характер.) Бесспорно, что виднейшие славянские романтики по-своему интерпретировали жанры общеевропейской распространенности, шли своими путями в жанрообразовании, обновляя литературный язык, опирались на свой литературно-речевой материал. Достигнутые на этом пути (и отнюдь не в изоляции от европейского литературного круга) результаты оставались, однако, высоким достижением в творчестве выдающегося художника или в конкретном национальном романтизме. «Пац Тадеуш» Мицкевича стал произведением в жанровом отношении уникальным, и вместе с тем слагаемое этого жанрового образования имеют аналогии в ряде других европейских литератур разных времен. III часть «Дзядов» стоит в ряду произведений, образующих ту разновидность польской романтической драмы, которую называют фантастической (или метафизической) драмой, драмой «открытой формы», наряду с «Кордианом» Словацкого и «Небожественной комедией» Красицкого. Но еще Жорж Санд ставила «Дзяды» в другой, «европейский» ряд, вместе с «Фаустом» Гете и «Манфредом» Байрона. Оба сопоставления приводят к выявлению и сходных качеств, и существенных отличий. «Король-Дух» Словацкого, грандиозная философско-историческая поэма, создавался на основе особой «философии духа», к которой пришел поэт под конец жизни, и в жанровом отношении был вещь совершенно неповторимой, оставшись в творчестве автора (и в польском романтизме) явлением обособленным (как стала им во французском романтизме позднейшая «Легенда веков» Гюго). Польская «звезда», прозаическая и стихотворная, с ее «сказовой» манерой, сочным бытописанием, — достояние исключительно национального романтизма (хотя многие ее особенности мы — в другом жанровом контексте — встречаем в других литературах, в том числе за пределами рассматриваемого региона). Есть основания отметить особую роль баллады в становлении романтизма в ряде славянских литератур, указать на разнообразие созданных разновидностей (баллада-рассказ, баллада-зарисовка, баллада, основанная на историческом материале или на народных легендах, поверьях и т. д.).

Но не меньшей была эта роль и в романтизме многих стран, относящихся к другим регионам. Многоаспектным было использование фольклора (следование народной поэзии, стилизация под нее, свободное наполнение сюжета и т. д.). Но это же мы можем сказать и о других литературах. Своеобразие национального фольклорного наследия само по себе, конечно, определяло уникальность созданных под его влиянием произведений. Но такое своеобразие оказывается качеством конкретной литературы: невозможным было, например, — с точки зрения его историко-литературной роли — восприятие сербского эпоса в других странах (хотя он вызвал живейший, вылившийся в комментарии и переводы, интерес многих славянских писателей) равновеликое тому, которое имело место на его родине. Романтическое бытописание, при котором иронически трактуется «низкая» действительность, в славянских литературах было распространено никак не в большей степени, нежели в других. (Особый случай, характерный для польского романтизма, изображение — с юмором и постальтерной одновременно — старошляхетского быта.) Исключительно популярен был у зарубежных славян жанр романтической поэмы (польская, словацкая, сербская и другие литературы), представляющий во множестве разновидностей («восточная повесть», в том числе «байронического» типа, на сюжет исторический или «экзотический», поэма с лирическими отступлениями, поэма психологического содержания, поэтический дневник путешествия, поэма-эпопея и т. д. и т. п.). Но возникает это разнообразие не в отрыве от общеевропейского художественного поиска, но, напротив, во многом благодаря ему.

Художественные аналогии, совпадения, прямые связи и взаимовлияния между зарубежными славянскими литературами периода романтизма отличаются богатством и разнообразием. Вместе с тем не менее богаты (а в некоторых случаях и более значительны для поэтического поиска) и их взаимоотношения с восточнославянскими литературами, с неславянскими литературами своего и других регионов. Обретенная национальная оригинальность, сознательно культивировавшаяся славянскими романтиками, сочеталась с активной приобщенностью к общеевропейскому романтическому движению, без всякой «зональной» узости, изолированности, замкнутости. Думается, что проделанные на сегодняшний день исследования по истории литератур стран Центральной и Юго-Восточной Европы эпохи формирования наций такой вывод вполне подтверждают.

ЛИТЕРАТУРА

1. Никольский С. В., Соколов А. Н., Стахеев Б. Ф. Некоторые особенности романтизма в славянских литературах. — В кн.: IV Международный съезд славистов. Доклады. М., 1958.
2. Сборник ответов на вопросы по литературоведению. — В кн.: IV Международный съезд славистов. М., 1958, с. 133—136.
3. Европейский романтизм. М., 1973.
4. Наливайко Д. Романтизм как эстетическая система. — Вопросы литературы, 1982, № 11.
5. Тертерян И. Романтизм как целостное явление. — Вопросы литературы, 1983, № 4.
6. Очерки истории болгарской литературы XIX—XX вв. М., 1959.
7. Очерки истории чешской литературы XIX—XX вв. М., 1963.
8. История польской литературы. Т. I. М., 1968.
9. История словацкой литературы. М., 1970.
10. Польский романтизм и восточнославянские литературы. М., 1973.
11. Развитие литературы в эпоху формирования наций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Романтизм. М., 1983.
12. Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Просвещение. Национальное возрождение. М., 1982.
13. Культура и общество в эпоху становления наций: Центральная и Юго-Восточная Европа в конце XVIII — 70-х годах XIX в. М., 1974.
14. Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977.
15. Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций. М., 1978.
16. Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII—XIX веков. М., 1985.

17. *Djakow W.* Polski ruch wyzwolenieczy a kultura lat 30—60. — In: *Kultura polska XVIII—XIX w.* Wrocław etc., 1984, s. 31—64.
18. *Архив Маркса и Энгельса.* Т. XIV. М., 1973, с. 143.
19. *Славянские литературы в процессе становления и развития. От древности до середины XIX века.* М., 1987.
20. *Лихачев Д. С.* Национальное своеобразие и национальное разнообразие. — *Русская литература*, 1968, № 1.
21. *Польша на путях развития и утверждения капитализма. Конец XVIII — 60-е годы XIX в.* М., 1984.
22. *История русской литературы.* Т. I. Л., 1980.
23. *История романтизма в русской литературе.* М., 1979.
24. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., изд. 2-е, т. 32, с. 44.
25. *Janiou M., Żmigrodzka M.* Romantyzm i historia. Warszawa, 1978.
26. *Никольский С. В.* Две эпохи чешской литературы. М., 1981.
27. *Maślanka J.* Literatura a dzieje bajeczne. Warszawa, 1984.



ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. ЦАНКАРА «БАТРАК ЕРНЕЙ И ЕГО ПРАВО» (К вопросу о жанре притчи в словенской литературе)

Иван Цанкар (1878—1918) — крупнейший представитель словенской литературы конца XIX — начала XX в. Его обширное творчество — поэзия, проза, драматургия, публицистика, литературная критика — пронизано духом борьбы против социального и национального гнета, глубокой человечностью и отмечено высоким художественным совершенством. Опираясь на традиции словенской литературы XIX в., Цанкар развивал их, внося новые черты в разные области национального литературного творчества. Он работал во многих прозаических жанрах, создавая новые для словенской литературы типы рассказа, романа и повести. Данное исследование посвящено анализу повести «Батрак Ерней и его право» — одного из самых ярких и значительных произведений словенского писателя.

Над повестью Цанкар начал работать в 1907 г., в период подготовки к выборам в государственный парламент Австро-Венгрии (куда входили и словенские земли), когда его кандидатура — уже известного тогда в Словении писателя — была выдвинута социал-демократической партией. Он с воодушевлением принял приглашение участвовать в работе центрального органа партии — газете «Рдечи прапор» («Красное знамя»), посылал туда свои рассказы, публиковал тексты своих выступлений перед рабочей аудиторией. Приступая к работе, писатель стремился написать агитационную брошюру, в простой и доступной форме выражающую идею социального неравенства в современном обществе и борьбы героя с этим злом. Однако в процессе работы первоначальная задача углублялась и расширялась, и в итоге была создана монументальная художественная картина построенного на несправедливости общества. В период подготовки повести к печати Цанкар живо интересовался ее судьбой, много внимания уделял художественному оформлению, торопил своего ljubljanskego издателя Л. Швентнера, подчеркивая актуальность написанного, уверял, что «его лучшая книга все больше устаревает» [1, зв. II, с. 22]. Неоднократно подчеркивая ее художественную значимость, автор убеждал издателя не объединять ее ни с каким другим произведением, утверждая, что «„Ерней“ — это трагедия... *сама по себе...*» [1, зв. II, с. 228].

Такое внимание писателя к судьбе своего творения не случайно, интуиция подсказывала ему, что книгу ожидает долгая и интересная жизнь. Действительно, это произведение переведено на многие языки мира, в том числе на русский и другие языки народов СССР. До сих пор оно является предметом исследований как на родине писателя, в Словении, так и за ее пределами. Во многом этому способствует необычайная жанровая форма, выбранная Цанкаром. Сам он в своих письмах и выска-

званиях называл сочинение то новеллой, то повестью [1, зв. II, с. 227; 2, с. 16]. В современном словенском литературоведении существует несколько точек зрения на жанр «Батрака Ернея». Так, известный словенский ученый А. Слодняк считает его «монументальной социальной картиной или притчей» [3, с. 310]. Близкое этому, но более конкретное жанровое определение произведения дает Б. Крефт: «символическая аллегорическая повесть-притча» или «социально-революционная притча» [4, с. 88, 208]. Другие словенские исследователи относят его к жанру новеллы. Так, видный литературовед и историк литературы Ф. Задравец считает, что это «аллегорическая новелла» [5, с. 217]; к жанру новеллы относит «Батрака Ернея» и Ф. Берник, автор обширной монографии о прозе словенского писателя [6, с. 332]. Большое внимание уделялось произведению и советскими учеными. Е. И. Рыбова, посвятившая несколько статей анализу творчества Цанкара, считает, что оно написано в форме полусказки, полуевангельской притчи [2, с. 17]. Таким образом, исследователи до сих пор не пришли к единому выводу о жанре этого небольшого произведения словенского писателя, хотя в большинстве своем относят его к притчевой литературе или подчеркивают его явный аллегорический характер. Спорным является и вопрос об отнесении его к большому или малому прозаическому жанру: повести или новелле. В связи с этим в настоящей статье хотелось бы вновь вернуться к проблеме жанровой специфики одной из лучших работ Цанкара, а также рассмотреть ее в связи с традицией притчи в словенской литературе XIX в. и проследить влияние «Батрака Ернея» на развитие последующего творчества словенского автора.

Предельно просто содержание произведения Цанкара, которое мы относим к жанру повести-притчи¹. Ерней, старый батрак зажиточного крестьянина Ситара, сорок лет верой и правдой прослуживший своему хозяину, после его смерти изгнан из дома. Оскорбленный сыном Ситара, новым хозяином земли, Ерней уходит с уверенностью, что найдет свою правду, право рабочего человека на дом, который он выстроил своими руками, на землю, обильно политую его потом. Так начинаются хождения Ернея по городам и весям. Он встречает недоучившегося студента, в молодости пытавшегося объяснить людям несправедливость мира и его законов. Теперь, обвиненный в «бунтарстве» и изгнанный из родных мест, тот разуверился в возможности восстановить на земле справедливость и призывает к смирению Ернея. К смирению призывает батрака и сельский староста, к которому старик обращается за советом и поддержкой; к смирению и покорности призывают его и крестьяне-соседи, гневно осуждающие Ернея за «бунтарские» притязания и мысли о праве. Но вера батрака не поколеблена. Он идет в Любляну, затем едет в столицу, чтобы в этом городе богатства и чудес рассказать кесарю о своих гонениях и о своем праве. Перед ним проходит целая вереница государственных служащих, но ни у одного из них герой не находит понимания и сочувствия. Ерней попадает в тюрьму вместе с ворами и бродягами, и здесь его начинает покидать последняя надежда найти справедливость. Совершенно раздавленный выпавшими на его долю испытаниями, Ерней возвращается домой и у священника, наместника Бога на земле, ищет ответа на вопрос об истинности божественной праведности, но обращается не в почтительном смирении: «твердым и упрямым был взгляд Ернея. Лицо его окаменело. Скорбь и надежда ушли из сердца» [2, с. 159]. И вновь

¹ Нам представляется, что это определение Б. Крефта наиболее полно раскрывает жанровые особенности произведения И. Цанкара. При всей драматичности описываемых событий, отсутствии излишней описательности и четком построении основного сюжета (что свойственно жанру новеллы), определяющим здесь является эпический характер повествования, хроникальная последовательность в изображении событий из жизни героя, а также речевая стихия, связанная с голосом автора-рассказчика (относящаяся к отличительным особенностям повести). Драматический финал здесь — не неожиданная развязка, а результат последовательного развития автором сюжета, подведение его к заранее определенному решению. Эта особенность, вместе с изображением действия «в сукнах», относится уже к композиционно-стилевым приемам дидактико-аллегорического жанра притчи.

не получает ответа. Он решает поджечь «свой» дом. Символом неминуемого возмездия, символом революции становится протест героя. Он погибает в огне, но погибает не смиренным. Так заканчивается история поисков батраком из Бетайновы своего права на земле.

Жанр притчи, а также вопрос об использовании методов и возможностей притчи в художественной литературе начал интересовать советских исследователей в недавнее время. Работ, относящихся к данной теме, немного, однако в них определены существенные особенности жанра [7—12].

В краткой статье С. С. Аверинцева читаем: «Притча — это дидактико-аллегорический жанр, в основных чертах близкий басне...», «в своих модификациях есть универсальное явление мирового фольклорного и литературного творчества...», а «для определенных эпох, особенно тяготеющих к дидактике и аллегоризму, притча была центром и эталоном для других жанров» [7]. О дидактичности притчи, как ее самой яркой жанровой примете, пишет и Е. К. Ромодановская. Опираясь на мысль Д. С. Лихачева о двуфункциональности жанров в древнерусской литературе [13], она рассуждает о двух типах притчи, религиозно-проповеднической и литературно-художественной и останавливает внимание на втором типе («притче Варлаама»), «наиболее важном для понимания собственно повествовательных жанров» [8, с. 44]. По ее мнению, это всегда сюжетное произведение, получающее в конце развернутое раскрытие аллегории, причем поучение дается в форме иносказания, своеобразного «примера из жизни». Иногда конечное толкование, характерное для такого типа притчи, может отрываться от нее, опускаться, и тогда по внешнему виду она превращается в краткую правоучительную повесть, «сохраняя в то же время свою изначальную символичность» [8, с. 45]. Сопоставляя такую «усеченную» форму притчи с повестью, Е. К. Ромодановская делает, на наш взгляд, очень интересный и важный вывод о том, что если «притча, „потеряв“ свой обязательный элемент (толкование) легко переходит в повесть, то и повесть легко может стать притчей, приобретя аллегорический смысл...» [8, с. 46] под пером писателя. При этом повесть-притча воспринимает и многие, характерные для жанра притчи художественные особенности, и в первую очередь абстрагирование как главную черту стиля. Герои предстают перед читателем не как объекты художественного наблюдения, а как носители идеи, являясь важным звеном в процессе подыскивания ответа к поставленной задаче, когда автор стремится непременно привести повествование к заранее определенному выводу. Таким образом, аналогичными классической притче, у повести-притчи являются и принципы построения сюжета: его заданность, подчинения заранее намеченному автором выводу. Используя в качестве источника сюжета сказку, «бродячий» сюжет или библейские книги, автор повести-притчи заимствует общую мысль увлекшего его мотива или даже эпизода и на этой основе создает оригинальное произведение, в котором соотносительность с библейским или сказочным текстом сохраняется благодаря символическим образам, сюжетным коллизиям, традиционной лексике. Однако генетически первичным является предметно-образный план изображения действительности. И символические образы (носители идеи), вырастая на основе этого изображения и не теряя связи с ним, в то же время становятся носителями нового смысла, намного превышающего объем их предметно-образного содержания. Это дает возможность автору повести-притчи соединить новые толкования библейских притч с вопросами современности, создавать произведения простые по форме и актуальные по содержанию, что, несомненно, усиливает их познавательное и воспитательное значение.

Обращаясь к детальной жанровой характеристике повести И. Цанкара «Батрак Ерней и его право», можно обнаружить в ней многие черты, общие для этой группы произведений. На родство повести со сказкой обратила внимание Е. И. Рябова: «От сказки взят прием повторов (Ерней повторяет свою историю несколько раз, каждый раз по-новому раскрывая вопиющую бесчеловечность хозяев жизни); от сказки идет многократное

обращение героя к представителям разных общественных слоев, являющихся своего рода традиционными типажками» [2, с. 17]. К приемам сказочного повествования можно отнести и необычайную насыщенность текста поговорками и присказками, атрибутами народных сказаний; и использование сказочных, «вещих» цифр (три, девять); и описание явлений природы, словно предрекающих трагический конец этой удивительной истории: «Тут в черном небе блеснула молния, загремело вдаль» [2, с. 114]; и упоминание героев сказочных легенд (Курент). Но в большей степени, по мнению Е. И. Рябовой, это произведение родственно традиционному жанру притчи. Величавая ритмичность, чеканность повествования о хождении Ерней, который, подобно апостолу и Христу, странствует от одного человека к другому в поисках правды и справедливости [2, с. 17]. Наряду с этим, в повести, отмеченной несколько абстрагированной манерой повествования, нет подробных, детализированных описаний: толкование словно доминирует над изображением. Нет в ней и психологической мотивировки характеров персонажей. Лишь скорбь и надежда, как главенствующие черты, определяющие состояние героя, ярко обозначены автором. Знакомый нам своей традиционной поучительностью мотив вечной неблагодарности господ по отношению к своим крестьянам не исчерпывает общего дидактического характера повести. Более важным здесь являются поиски Ернеем правды и сочувствия не только для себя, но и для многих, таких же, как и он, обездоленных бедняков («Не нищий и не проходец тот, кто работал сорок лет! Не бездомный тот, кто сам выстроил дом. Не надо просить хлеба тому, кто сам обрабатывал широкие поля. Ты работал, ты и пользуйся плодами своего труда — вот закон!» [2, с. 124]). Этот мотив характерен и для религиозных сюжетов (евангельских мифов о хождении Христа), и для древнейших народных сказаний. Таким образом дидактико-аллегорический характер повествования не вызывает сомнений, как не вызывает сомнения и то, что автор, обрушивая на героя жесточайшие испытания, стремится привести свой рассказ к заранее определенному финалу. Здесь обнаруживается еще одна особенность притчевой литературы. Используя как источник мотив о хождении Иисуса из Назарета, нашедший отражение в евангельских текстах, Цанкар, по-видимому, заимствует общую мысль мотива странствования в поисках правды и создает самостоятельное, оригинальное произведение, в финале подчеркивая активный характер главного героя, его стремление дойти до конца в достижении высшей справедливости. Любопытным в этой связи может показаться тот факт, что, наряду с атрибутивными для христианства проповедями смирения и покорности, любви и всепрощения, некоторые исследователи и, в частности З. Косидовский, автор книги «Сказания евангелистов», обнаруживает в ранних евангелических текстах косвенные свидетельства мятежного (воишственного) характера деятельности Христа после его вступления в Иерусалим. В своей книге польский писатель обращает внимание на некоторые из его высказываний «отнюдь не миролюбивого звучания» [14]. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч» (Евангелие от Матфея, 10 : 34), а вот другое, с которым перекликается финальная сцена повести Цанкара: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Евангелие от Луки, 12 : 49). В истории о батраке из Бетайновы дважды говорят об огне, о поджоге дома Ситара: Ерней в разговоре с молодым хозяином и бродяга, заключенный вместе с героем в люблянскую тюрьму. Но батрак отвергает мысль о таком разрешении конфликта, как лишнюю всякого смысла. И лишь в конце своего «крестного» пути он приходит к осознанию неизбежности этой «красной зари», в огне которой гибнет сам. Однако символика этого огня не вызывает уныния, она рождает веру в необходимость борьбы. Вся проникнутая революционным пафосом, эта символика не носит абстрактного, оторванного от жизни характера, она подкрепляется образно-предметным планом повествования. Хотя действие происходит как бы в условном времени и пространстве, описание и характеристика которого сведены до минимума, многие атрибуты той поры обозначены автором ярко и метко. Образ недоучившегося студента,

случайного спутника батрака Ернея, относит нас ко времени конца прошлого века, когда многие представители словенской интеллигенции разочаровываются в действительной силе просветительской работы, связанной с организацией читательских обществ (так называемых читален). Вместо понимания и поддержки они встречают враждебность и даже ненависть со стороны крестьян. С необычайной художественной силой автором даны и реальные приметы большого города — столицы Австро-Венгрии — где огромная армия чиновников всех мастей и рангов блюдет лишь интересы государственно-бюрократической системы и где богатство и роскошь соседствуют с нищетой и бесправием. Использование реалий современной действительности усиливало социальную значимость произведения, позволяло Цанкару актуализировать вечную идею непримиримости борьбы добра со злом и связать ее с глубоко современной проблемой социального неравенства и его истоков. При этом использование богатых возможностей сказовой речи, насыщенной символическими повторами, метафорами, четкость и ясность композиционного построения повести усиливали восприятие основной идеи, волновавшей писателя, и свидетельствовали о его настойчивом стремлении, направленном к демократизации словенской литературы.

И. Цанкар, работая над повестью «Батрак Ерней и его право», не впервые использовал художественные возможности жанра притчи. Так, еще в 1905 г., в письме редактору журнала «Люблянски звон» («Люблянский колокол») Ф. Левецу он пишет о работе над новым произведением, которое по стилю и жанру стоит особняком среди созданных им до сих пор, — повестью «Бродяга Марко и король Матьяж»: «...тем людям, что упрекают меня, что я не пишу для „народа“ таким народным языком, каким пишут сегодня, я хотел показать: любую идею можно облечь в предельно простую форму» [1, zv. I, s. 300]. Цанкар выступает в этом письме против так называемых «народных пьес», упрощенных переложений сюжетных мотивов произведений словенских писателей XIX в. (И. Юрчича, Я. Керсника и др.). Появление этих пьес (комедий и драм с пением и плясками) преследовало, как пишет Ф. Задравец, не чисто художественные, а просветительские цели; они были рассчитаны на постановку в народных театрах, продолжающих традиции словенских читален [5, s. 168]. К созданию подобных произведений обращались Ф. Говекар, А. Медвед, Ф. Финжгар и другие писатели. Один из лучших образцов этого весьма популярного в то время в Словении жанра — пьеса Ф. Финжгара (1871—1963) «Охотник-браконьер» (1902), в которой мастерски использовано все богатство фольклорной традиции XIX в. Включая в ткань повествования описания народных обычаев и обрядов, язык простого крестьянства, Финжгар переложил старую народную легенду в драматическую историю о пагубной власти денег с традиционным для литературы того времени назиданием и восхвалением религиозных моральных устоев.

И. Цанкар, в отличие от авторов «народных пьес», стремился использовать сокровищницу народного языка и популярные фольклорные мотивы для выражения глубоко современных идей. В повести «Бродяга Марко и король Матьяж», которую словенский исследователь А. Слодвяк назвал притчей или «двойной притчей» [3, s. 309], писатель объединил старую легенду о возвращении короля Матьяжа, защитника бедных и слабых, и историю о зверствах и притеснениях, чинимых на словенской земле Али-пашой. В противовес псевдоромантическим попыткам других словенских писателей использовать легенду о короле Матьяже для проповеди смиренного ожидания лучших времен, Цанкар в своем произведении выразил глубоко революционную мысль о том, что сам народ, угнетенный и эксплуатируемый страшным Али-пашой, может подняться на борьбу и низвергнуть с престола грозного владыку, не дожидаясь, пока проснется в своей глубокой пещере легендарный король и его дружина. А героем-пророком, указующим народу путь борьбы, станет бродяга-певец, его блудный сын. Именно эта мысль повести дала основание Ф. Бернику сравнить ее с повестью «Батрак Ерней и его право», «лучшим социально-критическим произведением Цанкара» [6, s. 243]. Ф. Берник делает акцент на близости идейного

содержания этих двух произведений, главные герои которых начинают задумываться над проблемой социального неравенства в мире и путях его преодоления. Так, бродяга Марко, усердно работающий на поле приютившей его крестной, вскоре начинает размышлять, подобно тому, как позже будет размышлять батрак Ерней: «Это не мой дом; и сено, которое собрано — не мое. И это поле тоже не мое: я пашу и сею, а пожинать плоды будут другие» [15, т. XIII, s. 29—30]. Во многом, по мнению словенского исследователя, перекликаются и финальные сцены повестей. В более рапней — картина стихийного крестьянского бунта и поджог замка своего притеснителя. В повести 1907 г. — уже осознанный акт возмездия. Сопоставление двух произведений можно продолжить. Уже в повести «Бродяга Марко и король Матьяж» мы находим стиливые приемы, так ярко проявившиеся затем в повести о хождениях батрака Ерней: и широкое использование дидактического подтекста народной речи (пословиц и поговорок, пророческих снов), и изображение стихийных явлений, предрекающих будущую бурю народного возмущения. Немаловажную роль в усилении революционно-романтического пафоса произведений играют образы-символы, образы-лейтмотивы, пронизывающие ткань повествования: образ «красавой зари», словно красной мантией окутавшей восставшую долину, образ «креста», который, как тяжелую ношу, изваливает на свои плечи герой Цанкара, образ матери-родины, воссозданный писателем в лице любящей и всепрощающей тетушки Агаты.

Таким образом, интерес Цанкара к жанру притчи и использованию ее возможностей для выражения революционных идей не случаен. Он свидетельствует о поисках писателем новых жанровых форм, способных соединить литературную традицию и новаторские художественные устремления словенского автора. Действительно, вдохновение для таких произведений писатель черпал не только из современной жизни, с большой отъезаясь на ее проблемы и противоречия. При создании их он опирался на опыт и традиции словенской литературы XIX в. Так, в июле 1853 г., в «Словенском гласнике» («Словенском вестнике») Янежича была напечатана небольшая повесть Ф. Левстика «Мартин Крпан с Верха», в которой автор использовал мотив известной словенской героической песни «Пегам и Ламбергар» о битве простолюдина с великаном. Историю о том, как Мартин Крпан в жестокой схватке с великаном спасает цесаря и его двор от смертельной опасности, а в награду, помимо насмешек и издевательств, получает лишь разрешение на право свободной торговли солью, автор вкладывает в уста старого крестьянина Мочилара. Опираясь на популярный фольклорный мотив и используя богатые возможности народного языка, Ф. Левстик создает художественное произведение, в котором стремится передать вечную и в то же время глубоко современную идею несправедливости и неблагодарности повелителей и самоотверженного великодушия простого народа. Но в большей степени стремление сделать национально-специфическую образность народного мышления и фольклорные мотивы неотъемлемой частью идейно-художественной системы современного литературного произведения получает развитие в творчестве Я. Трдины (1830—1895), одного из ведущих представителей фольклорного направления в словенской литературе XIX в. Ему принадлежат повести по мотивам народных легенд, сказок, песен. Такими были его «Народные рассказы из Быстринской долины» (1849), «История Гласан бога» (1850), произведение, в котором объединены мотивы народных песен о короле Матьяже, о певце у врат рая, героических легенд о тяжелой борьбе с турками и др. В 80-е годы XIX в. Я. Трдина создает свои знаменитые «Сказки и повести о Горяндах» (1882—1888), которые очень высоко ценил И. Цанкар, считая их «прекраснейшим и самым зрелым плодом словенской поэзии» [15, т. XIV, s. 103]. Обращаясь к мотивам словенского и сербского фольклора, писатель создавал символично-аллегорические произведения, в которых в фольклорный сюжет органично вплетались реалии современности. Не случайно многие из них он называл повестями, подчеркивая тем самым и связь описываемых в них событий с жизнью. В форме сказки или притчи он стремился выразить свое отношение к существующему го-

сударственному устройству, выступал с обличением помещиков и священников, чиновничества и абсолютизма. Отказываясь от романтической идеализации патриархального уклада сельской общины, Трдина описывал и слабые черты словенского крестьянства: отсталость, холопскую верность господам, неграмотность и забитость, справедливо оценивая их как духовные последствия многовекового притеснения со стороны немецких феодалов. Объединенные в цикл, сказки и повести писателя были пронизаны мыслью о необходимости бороться за национальное освобождение от немецкого господства. Я. Трдина показал, как в ответ на притеснения, приносящие неисчислимые бедствия, жители сел и деревень надевали символы мести («Рубашка смертника») и уходили в лес, пополняя ряды мстителей («Рубашка смертника»).

Следует отметить, что для произведений цикла о Горяnciaх было характерно не только разнообразие тем, сюжетных мотивов, используемых автором, а также художественно-стилевых решений. Некоторые из повестей представляли собой литературно обработанные сказки с характерным для этого древнего жанра дидактическим осмеянием зла и возвышением добра («Птица-златоперка», «Оборотень» и др.). Другие — представляли собой стилизованные обработки сказочных или легендарных сюжетов, где рядом с фантастическими существами действовали реальные люди, горяncкие крестьяне, со своими делами и заботами («Леший»). Часто в них на фоне сказочно-фантастического действия разворачивались картины бедственного положения словенского крестьянства и беззаботной жизни его притеснителей, немецких господ и их прислужников. Наиболее характерной для этой группы произведений является повесть «Ночь накануне Иванова дня», которую А. Слодняк определил как «гротескную сказочную повесть», «самый острый памфлет» [3, с. 238], обличающий антинародный характер местных выборов в Нижней Краине и в ярках фантастических образах высмеивающий представителей государственной и церковной власти. В основу сюжета положен мотив сказочных превращений в волшебную ночь на Ивана Купалу, когда чудодейственное зерно папоротника дает возможность изгнанному со своей земли и из своего дома жестоким бароном Равбаром крестьянину Мартинеку очутиться в Горяnciaх на шабаше ведьм, устроенном самим сатаной. Среди гостей герой узнает и реальных людей: учителя из Нового места, лицемера и растлителя душ своих молодых учеников, ярого противника всего народного, особенно словенского языка, на котором еще недавно говорил он сам. Здесь перед взором Мартинека проходит целая вереница господ, презирающих свой народ, видящих в крестьянах лишь глухих рабов. Одни из них открыто порицали их невежество и покорность, другие прикрывались при этом лицемерными проповедями борьбы за прогресс, справедливость. Но на деле только Мартинек, бедный крестьянин, получивший в эту волшебную ночь возможность понимать голоса зверей и видеть все клады земные, скрытые от глаз человека, употребил этот дар на пользу людям. Если в ранних произведениях цикла Я. Трдины сказочный мотив является основой сюжета, то в повести «Почь накануне Иванова дня» он становится как бы своеобразным фоном, обрамляющим и пронизывающим глубокое и поучительное рассуждение о волнующих писателя проблемах современности. Поучение у Трдины не выдвинуто на передний план, не вынесено в начало или финал написанного, оно как бы опущено. Писатель дает возможность читателю самому сделать вывод и о многом задуматься.

В других произведениях цикла он почти полностью отказывается от присущей сказке фантастики и посвящает повествование одному из эпизодов жизни на Горяnciaх. Сказовая манера изложения, умелое использование оборотов народной речи, а также отдельные элементы гиперболизации и даже гротеска ориентирует читателя на связь литературного произведения с фольклорной традицией, заставляет исподволь искать поучение, размышлять. «Петер и Навел» — еще одна большая повесть Трдины этого периода, очень близкая по своим художественным особенностям притче. В ней три истории объединены одной мыслью, одной задачей, которую поставил перед собой автор. История жизни и деяний жестокого и ковар-

ного генерала Ергер-Бергера становится определяющей для развития других сюжетных линий произведения. Одна из них связана с повестью о кратковременном владычестве в замке генерала крестьянина Петера Кресе, который становится еще более жестоким притеснителем односельчан. Автор раскрывает наиболее негативные черты его характера, изображая героя безропотным исполнителем воли господина, глухим, алчным, видящим единственную утеху жизни в вине. Но история Павла Кресе, который вслед за Пегером становится временным правителем поместья, дает возможность увидеть в крестьянстве и другие качества: ум, проникательность, ненависть к господам, а главное — стремление отомстить и вырваться из-под тяжелого бремени несправедливой власти. Повесть Я. Трдины лишена бытовых подробностей и развернутых описаний природы; нет здесь и психологически мотивированных портретов. И хотя произведение лишено финального назидания, тем не менее обращает на себя внимание его общая дидактическая направленность. Эти черты повести Я. Трдины дают основание говорить о некоторых элементах притчевой поэтики, используемых писателем в своем творчестве, о близости его произведения жанру притчи.

Так, в творчестве Я. Трдины соединение форм условного и реалистического повествования, использование богатых возможностей народного языка, сказочной фантастики давало толчок к дальнейшему развитию словенской литературы, обогащению ее новыми жанровыми формами, поисками выхода к современным темам. Следует отметить, что для Я. Трдины включение в ткань произведений заново пересказанных и переосмысленных мотивов сказок, легенд и мифов (при всей сатирической направленности цикла о Горящих) имело не только эстетическое, но прежде всего историко-культурное значение. Так писатель старался сохранить фольклорный материал, сбереженный в памяти народа и бытующий в устной форме. Пересказанные им народные предания раскрывали специфику мифологического сознания, помогали понять черты национального характера.

В той или иной степени и другие словенские писатели периода рубежа веков испытывали тяготение к использованию фольклорных сюжетов и мотивов евангельских текстов с присущими им символической и назидательностью. Ф. Финжгар, испытывающий определенное влияние католической литературы, в своем творчестве стремился к привлечению поэтических приемов притчи для решения нравственно-этических проблем (рассказ «Нива» и др.). Для другого словенского писателя этого времени, К. Мешко (1874—1964), использование библейских мотивов и широких возможностей условно-символического способа изображения было прежде всего подчинено поискам новых художественных приемов для передачи человеческих переживаний (рассказы «О человеке, который возвращался», 1903; «Иллюзии», 1903).

В отличие от многих своих современников И. Цанкар идет по пути расширения возможностей использования интонаций, оборотов, «клише» народно-поэтического языка и художественных приемов притчевой литературы и использует богатый язык символов и аллегорий для пропаганды новых, революционных настроений, рожденных периодом исторической ломки старого и зарождением нового общественного сознания, носителем которого являлся, по убеждению писателя, самый передовой класс эпохи — пролетариат. Не случайно имя Цанкара связывают с зарождением нового, пролетарского, направления не только в словенской литературе, но и в литературе Югославии в целом.

В дальнейшем творчестве Цанкар не раз прибегал к использованию отдельных элементов поэтики жанра притчи: приемов обрисовки персонажей, временной, пространственной характеристики и т. д. Но каждый раз при этом происходило взаимодействие жанрово-стилистических средств условного и реалистического обобщения, что служило отражению действительности во всей ее сложности и многообразии. Это можно отметить в антимещанском цикле «Из долины святого Флориана» (1908), а также в романе «Новая жизнь» (1908) и повести-легенде «Курент» (1909). Заслуживает внимания то, что в романе «Новая жизнь» Цанкар вводит в повество-

вание небольшую «Историю о горбуне», притчу-вкрапление. Вставка, на первый взгляд, кажется обособленной, не связанной с главной сюжетной линией. Однако она помогает писателю, на время прервав последовательное описание событий, ярче высветить основной концептуальный мотив произведения — мотив осознания человеком своего места в жизни. Притча-вставка помогает автору отойти от основного действия и установить внутренний контакт с читателем, обратиться к нему с сокровенным словом, поставить перед ним важную философскую проблему.

Существенной приметой литературы конца XIX — начала XX в. является возрастание роли условных форм повествования, что отмечено многими исследователями. Писатели в разных странах и каждый по-своему обращались к жанру притчи, используя его художественные средства и приемы. При этом они во многом опирались на опыт своей национальной литературы. Традиция жанра продолжала развиваться, усложняться и переосмысляться. Несомненно, этому способствовало и то, что в поисках новых жанровых форм и средств художественной выразительности к использованию элементов поэтики притчи тяготели писатели разных художественных направлений. В русской литературе рубежа веков в жанре притчи создавали произведения такие крупные писатели, как Л. Толстой, В. Гаршин, В. Короленко, В. Лескоф. В немецкой литературе рассматриваемого периода одним из свидетельств поисков новых форм художественного обобщения явилось появление в 1896 г. символической драмы-сказки «Потонувший колокол» Г. Гауптмана. Показательным является обращение к жанру философской сказки-притчи английского писателя О. Уайльда (сборник «Счастливый принц и другие сказки», 1888; сборник «Гранатовый домик», 1891).

Безусловно, в каждом конкретном случае обращения писателей к поэтике притчи очень важно понять уровень и направленность использования художественных возможностей жанра, правильно оценить их идейную устремленность. Для нас значимым является то, что поиски новых повествовательных форм и изобразительных средств в творчестве И. Цанкара проходили в русле европейского литературного процесса.

Мастерское использование Цанкаром композиционных и стилевых приемов притчи свидетельствует о неисчерпаемых возможностях этого древнего жанра и о многоплановости художественных исканий словенского писателя. Он обращается к символике и аллегории именно тогда, когда пытается решать важнейшие проблемы своего времени. В этом случае форма притчи, философской сказки позволяет ему подняться над детализированным правдоподобием, повышает масштабность образов, дает простор для обобщений. Именно так воспринимается образ Ернея в повести-притче «Батрак Ерней и его право». В судьбе одного маленького человека сконцентрировано отражена судьба целого народа, а его протест становится символическим предостережением. Недаром словенский литературовед И. Приятель назвал это произведение «вселенски-могучим переложением Марксова манифеста» [16, с. 24].

ЛИТЕРАТУРА

1. Cankar I. Pisma. Ljubljana, 1948, zv. I—III.
2. Цанкар И. Избранное. Т. I. М., 1981.
3. Slodnjak A. Slovensko slovstvo. Ljubljana, 1968.
4. Krest B. Cankar in njegov «Hlapec Jernej». — In: Cankar I. Hlapec Jernej in njegova pravica. Maribor, 1967.
5. Zadavec F. Zgodovina slovenskega slovstva. Maribor, 1970.
6. Vernik F. Tipologija Cankarjeve proze. Ljubljana, 1983.
7. Аверинцев С. С. Притча. — КЛЭ. Т. 6. М., 1971, стб. 20—21.
8. Ромодановская Е. К. Повесть о гордом царе в рукописной традиции XVII—XIX вв. Новосибирск, 1985.
9. Бочаров А. Г. Бесконечность поиска. М., 1982.
10. Ишанова А. К. Жанр и функции притчи в советской прозе 70-х — начале 80-х годов. — Вестник МГУ. Сер. 9. Филология, 1984, № 6.
11. Адамович А. Торжество человека. — Вопросы литературы, 1973, № 5.
12. Цветков А. Возможности и границы притчи. — Вопросы литературы, 1973, № 5.
13. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979, с. 55.
14. Косидовский Э. Сказания евангелистов. М., 1981, с. 240.
15. Cankar I. Zbrano delo. T. I—XXX. Ljubljana, 1968—1976.
16. Prijatelj I. Domovina, glej umetnik! — In: Cankarjev zbornik. Ljubljana, 1921.



НАСТОЯЩЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ В СИСТЕМЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Несмотря на то, что вопрос о настоящем историческом (НИ) не раз поднимался в грамматической литературе, применительно к употреблению НИ в славянских языках до сих пор остаются невыясненными следующие вопросы: 1) почему при выражении единичных действий в одних славянских языках в НИ используется, а в других не используется сов. вид глагола? 2) что позволяет формам несов. вида конкурировать с формами другого вида или восполнять их отсутствие в НИ — выражать значение сов. вида¹ (ср. *Тогда он входит и говорит* = 'Тогда он вошел и сказал')? 3) почему там, где при обозначении единичного действия в НИ нельзя использовать форму презенса сов. вида, в НИ такая форма выражает повторяющиеся действия? Исследование этих и других вопросов тем более важно, что НИ представляет собой одну «из тех сфер употребления глагольных видов, в которых славянские языки обнаруживают, наряду с некоторыми общими чертами, значительные расхождения» [1, с. 48].

По-видимому, нельзя сомневаться в том, что подобные расхождения обусловлены системой каждого отдельного славянского языка, эксплицируют эту систему. В силу этого названные вопросы связаны прежде всего с типологической характеристикой, с объяснительными аспектами описания славянского глагола. Задача статьи — рассмотреть НИ именно в таком разрезе, т. е. спроецировать на систему те различия, которые наблюдаются в употреблении НИ современных славянских языков и обычно квалифицируются как функциональные особенности. Представляется, что ответить на поставленные выше вопросы можно, только учитывая, во-первых, то, какой способ представления действия во времени доминирует в каждом конкретном славянском языке, во-вторых, специфику и особенности самой функции («позиции») НИ.

Большинство лингвистов до сих пор считали, что в формы времени, локализуя действие на временной оси, качественно и количественно его никак не определяют. Между тем, как пишет Г. Рау, «подобно локальным пространствам время в языке метафорически представляется как временное пространство» [2]. Размер этого пространства, его конкретная локализация могут варьироваться от языка к языку, а также в пределах одного языка (ср. различия типа аорист — перфект, будущее — будущее предварительное и т. п.). С этим можно связать попытки некоторых лингвистов включить как обязательный элемент в понятие времени информацию о характере или способе протекания действия (ср. концепцию времен, предложенную акад. В. В. Виноградовым). Актуализируя наличные внутриязыковые различия в способе представления действия во времени, такой

¹ Это свойство имперфективного настоящего, будучи констатировано во многих работах, как таковое фактически вигде не объясняется.

подход предполагает, что определение количества глагольных времен и их значений производится на основе конкретных данных языка, и это количество не всегда обязательно равно трем [3].

В сопоставительном исследовании способы представления действия во времени могут рассматриваться как соотносительно-противопоставленные варианты темпоральной презентации одного и того же акционального содержания. При обычном подходе тот факт, например, что словенский язык в НИ, в отличие от русского, использует формы обоих видов, последовательно реализует видовое противопоставление [1, с. 51], можно или истолковывать как различие употребления (что обычно делается), или усматривать в нем известный функциональный недостаток структуры русского и схожих с ним по этому признаку языков (болгарского, украинского, польского и др.). Признавая существование межъязыковых и внутриязыковых различий в способе представления действия во времени, можно установить, однако, что те или иные расхождения славянских языков в использовании видов в НИ обусловлены строгой закономерностью: в такой же мере, в какой русский или, например, современный польский язык в НИ при обозначении единичных действий (как законченных, так и незаконченных) вынужден использовать только формы несов. вида, словенский язык для реализации аналогичных функций в ы н у ж д е н использовать оба вида. Ср.: (1) польск. *Przysuwa dla żony trzciniową kanapkę... sadza na niej żonę i mówi tajemniczo:— A teraz dam ci przedstawienie!* (К. Irzykowski) «Он подвигает для жены диванчик из тростника... сажает на него жену и говорит таинственно:— А сейчас я дам тебе представление!»; (2) русск. *Сижу (сидела) раз в лавке — вдруг сам выходит (вошел). Пьян — лица нету. Вносит (внес) селедки, — утром девочка приходила, купила...* (И. Бунин); (3) словен. *Gospa se prestraši, urno skoči iz sedla in hiti k meni* (I. Tavčar) «Госпожа пугается (букв. испугается), проворно соскакивает (соскочит) с коня и спешит ко мне».

Способ представления действия во времени — это временная рамка (тип локализации) действия, исходная структура, в которую помещается конкретный акциональный смысл. Доминирующий способ представления действия во времени, присущий тому или иному славянскому языку, предопределяет характер использования видо-временных признаков форм в той или иной позиции (временном плане), задает линии системно-функциональных соответствий между ними. Поскольку, как отмечается в литературе, настоящим историческим представлена особая п о з и ц и я глагольного функционирования, различие способов представления действия во времени в этой позиции должно реализоваться, по всей видимости, весьма отчетливо ².

Определение времени как категории, выражающей отношение действия к ситуации сообщения (моменту речи), является слишком общим для достаточно продуктивного применения в исследовании конкретных деталей употребления временных форм. Под указанное, являющееся традиционным, определение не подойдет, например, акционально-временная семантика русских итеративов типа *читывал, пьювал* (по В. В. Виноградову, представляющих в русском языке давнопрошедшее время), равно как и чешск. *řikával, slýchával, mluvíval* и т. п., имперфектов типа *дойдеше, прибереше, срещнеше* (т. е. от глаголов совершенного вида) в болгарском и т. д. В каждом случае здесь речь идет не о действии в строгом смысле, а о действиях, деятельности. Этот факт легко принять за частность, несущественную для теории. Тщательный анализ распределения темпоральных смыслов форм, функциональных и системно-смысловых различий между ними позволяет обнаружить, однако, что как раз через эту область проходит одно из основных различий в способе представления действия

² На мысль о существовании различий в способе представления действия во времени может натолкнуть также различная лингвотeorетическая кодификация, как может казаться, одних и тех же явлений глагольного употребления учеными — носителями и исследователями разных славянских языков, осуществленная вне каких-либо сторонних влияний (см. ниже).

во времени. Данное различие состоит в том, что определенное акциональное содержание в структуре временного плана представляется, «подается», рассматривается или как *д е й с т в и е*, или как *д е я т е л ь н о с т ь* субъекта.

Возникает вопрос: почему столь теоретически важное различие в ориентации формы и коррелятивного ей семантически временного плана на действие или на деятельность прежде оказывалось трудноуловимым? Думается, прежде всего потому, что влияние одного из указанных типов ориентации на функционирование формы не самоочевидно: форма, своей значимостью ориентированная на обозначение деятельности, обычно без помех проникает в область обозначения действия (одно из характерных следствий этого явления — утрата глаголом итеративного значения; ср. лат. *itare* «хаживать», утрата которым итеративного значения привела к образованию нового итератива *ititare*) и наоборот: форма, ориентированная на обозначение действия, нередко проникает в сферу обозначения деятельности; ср. (4а) *Он сейчас занят: пишет письмо* → (4б) *Он сейчас занят: пишет роман*.

Согласно сказанному выше, в языке надлежит различать временные планы (соответственно — средства презентации): 1) действия — как факта ситуации и 2) деятельности — как факта социума; отсюда более широкое (онтологическое) толкование плана деятельности, чем плана действия; абстрактность, статичность плана деятельности и, соответственно, относительность, динамичность плана действия. Будучи недискретным, действие интересует нас в его частных моментах и с точки зрения его отношения к другому действию; деятельность же дискретна, она интересует нас с точки зрения ее результата и обычно значима сама по себе: протекает или не протекает, имела место или еще только предстоит и т. п. Иными словами, деятельность определяется абсолютно, действие относительно. По определению, в категории времени глагола соотнесены между собой так называемые абсолютные времена. Это значит, что отдельные противочлены этой категории — это, по преимуществу, средства темпоральной локализации (характеристики) не действия, а деятельности (применительно к действию абсолютным является деятельность), соответственно, само время — это, чаще, не отношение действия, а отношение деятельности к ситуации речи.

Важно отметить, что известный, используемый и в рассуждениях многих исследователей славянских языков вопрос Миклошича — Кошмидера «Что это ты делаешь?» [4, S. 34] — это вопрос не действия, а деятельности. Ни один глагол сов. вида не способен служить ответом на этот вопрос, и это не потому, что такой глагол, как иногда считают, не способен обозначить законченность действия в настоящем (актуальное настоящее), — законченность действия в настоящем многие глаголы сов. вида выразить в состоянии (в силу преходящести, относительности этой законченности; ср. *У него зуб на зуб не попадет*); главная причина в том, что логически невозможно представить себе в о о б щ е законченность деятельности в настоящем. Поэтому сомнения, которые высказали в свое время Э. Герман [5] и А. Дебруннер [6] относительно правомерности вывода Э. Кошмидера о том, что сущность сов. и несов. видов определяется их способностью или неспособностью служить ответом на указанный вопрос, в целом справедливы. Сов. вид невозможен в настоящем только как обозначение завершения деятельности, а не действия. Например, так называемое гномическое употребление глаголов сов. вида — это обозначение законченности отдельных действий (соответственно, дискретности самой деятельности) в незавершенном (настоящем) плане деятельности: (5) схрв. *Два лоша избихе* (перфективный аорист) *Милоша* «Два слабака побивают Милоша»; (6) в.-луж. *Chromy kón so rady pótknje* (перфективный презент) «Хромой конь часто спотыкается»; (7) макед. *Како викнало* (перфект), *така се озвело* «Как аукнется, так и откликнется»; (8) русск. *Что упало, то пропало* и т. п.

Известный целому ряду славянских языков переход к выражению в

форме презенса сов. вида значения будущего — один из характерных процессов, отразивших, во-первых, сдвиг к интерпретации конкретных временных планов в этих языках как планов деятельности, а не действия, во-вторых, невозможность представить законченность деятельности в плане настоящего. В соответствии с аналогичной, но уже несколько иной закономерностью (невозможностью фиктивную, «показываемую» деятельность по отношению к прошлому оценить как незаконченную; см. ниже) тогда, когда по условиям речи деятельность показывается в соотношении с прошлым, как это имеет место в НИ, такая деятельность, хотя говорящий и представляет ее как целенаправленный, развивающийся процесс, интерпретируется как имеющая результат. Говоря конкретнее, условия употребления приводят к тому, что грамматическая форма настоящего как «слово без представления» (в терминологии А. А. Потебни) в контексте начинает мыслиться в связи с определенным представлением — получает образ, определяющий значение (функцию, употребление; ср. [7]), и этот образ является именно образом законченности (исчерпанности события). Ср.: (9) *Вдруг витязь мой, Вскипев, железною рукой С седла наездника срывает* (т. е. сорвал), *Подъемлет* (поднял), *держит* (поддержал) *над собой И в волны с берега бросает* (бросил) (Пушкин). Подобное (перфективное) истолкование семантики НИ несов. вида, свойственное определенному славянскому языку, одновременно сигнализирует о том, что временные планы в этом языке ориентированы не на структуру действия, а на свойства и на структуру деятельности. Если бы время в таком языке рассматривалось (онтологически) только как отношение действия (а не, преимущественно, деятельности) к моменту речи, интерпретация настоящего несов. вида как аналога прошедшего совершенного была бы невозможна, ибо в своих сущностных признаках только деятельность определяется абсолютно. Ориентируясь на деятельность, мы и приписываем форме, обозначающей действие, значение результата этого действия как деятельности³. Благодаря влиянию общего, абсолютного, критерия (то, что в прошлом и есть итог, результат) «показывание» части деятельности в НИ сообщает об итоге всей деятельности.

Забегая в изложении несколько вперед, отметим, что перфективную функцию имперфективных презенсов в НИ там, где она имеет место (примеры 1, 2, 9 и др.), можно было бы попробовать объяснить и без дифференциации понятий действия и деятельности — путем ссылки на ряд семантических особенностей формы, выступающей в условиях переносного употребления (то, что НИ — транспозиция, признано едва ли не всеми лингвистами). Дело в том, что в условиях транспозиции слова или формы используются в своем абсолютном значении, свидетельством чего является утрата ими лексико-грамматической соотносительности (ср. *сахар кончился* при отсутствии *сахар начался*; *слезы бегут* при невозможности *слезы бегают* и т. п.). Абсолютным по отношению к протеканию, разворачиванию действия выступает его результат, чем и можно было бы объяснить перфективную интерпретацию имперфективных презенсов в НИ. Думается, однако, что один путь объяснения не исключает другой; в частности, ничто не мешает считать, что именно переносное употребление формы способствует толкованию выражаемого ею действия как факта деятельности, чему и отвечает применение при интерпретации этой формы критерия абсолютности.

Итак, различия между славянскими языками в отношении того, какие формы презенса в них используются в НИ — перфективные или имперфективные, определяются наличием/отсутствием в прошлом или настоящем в их семантике и структуре сдвига к интерпретации конкретных временных планов не как планов протекания действия, а как планов осуществления деятельности. Менее всего заметен такой сдвиг в словенском языке (ср. примеры 3, 11). На линии движения от словенского как «полюсного» языка, демонстрирующего достаточно отчетливо приверженность

³ При этом существует также роль ретроспективного аспекта оценки действия, о чем см. ниже, а также в [8].

«критерию действия» и потому различающего совершенство и несовершенство и в НИ, располагаются сербохорватский, верхне- и нижнеду- жицкий, чешский и словацкий языки, где в НИ свободно используются формы сов. вида, однако сдвиги к противоположному полюсу более или менее заметны (ср. [9]). С синхронической точки зрения этот факт можно истолковать как имеющее место смешение или переплетение критериев «действия» и «деятельности» как способов темпоральной локализации процессов в указанных языках. В свое время такой подход дал основания А. В. Бондарко по особенностям употребления форм несов. и сов. вида в НИ выделить особый, промежуточный (междуполюсный) тип языков [1, с. 51]. С диахронической точки зрения славянские языки в рассматриваемом отношении, однако, как бы продолжают друг друга; за чешским и словацким, представляющими, согласно А. В. Бондарко, упомянутый промежуточный тип, следует еще один, отражающий особенности другого полюса ряд языков, куда входят болгарский, македонский, польский, украинский, белорусский и русский языки. Использование презенса сов. вида в НИ единичного действия в основном осталось в прошлом, а также на периферии функционирования данных языков. Выражение единичных законченных действий формами перфективного презенса в плане прошедшего времени в этих языках уже невозможно, вследствие чего в НИ здесь и используется только несов. вид. глагола. Ср. (10) укр. фолькл. *Озоветься старий дід з бородою:— Ой я тую руту да м'яту да проволк...*⁴ В современном тексте было бы: *Озывается старий дід...*

То, как распределены славянские языки по особенностям использования видов в НИ, в целом согласуется с тем, как интерпретируется славистами-языковедами настоящее совершенное этих языков. Расхождения во взглядах по этому вопросу, с нашей точки зрения, целесообразно рассматривать не как заблуждения одних и правоту и истинность суждений других лингвистов (в целях экономии места они приводятся ниже в общем виде, без материала), а как отражение иных, столь же объективных, как и несходства в употреблении НИ, функциональных и системных различий между славянскими языками по соотношению в них способов темпоральной локализации действия. Преимущества, которые дает такой подход, достаточно очевидны: во-первых, он позволяет исходить из с и с т е м н о с т и (соотносительности, коррелятивности) р а з л и ч и й между славянскими языками по особенностям организации и функционального распределения в них семантики глагола, во-вторых, делает обоснованными суждения о соотносительности употребления форм в актуальном плане и в НИ, а в конечном итоге значительно укрепляет известное положение о п р о и з в о д н о с т и функций НИ.

Как вытекает из вышеизложенного, во временных планах словенского языка структурируется, главным образом, действие, а не деятельность. Последнее проявляется в том, что в речи обозначаются все детали различия видовых признаков действия, формы перфективного презенса часты в употреблении, нередко используются как носители функции актуального настоящего. Этот факт не остался незамеченным. Еще С. Шкрабец и Й. Менцей такое настоящее рассматривали как обычный элемент функционирования и системы словенского языка [10; 11]. Они же нашли для него специальное название — «эффektivный презенс» (*praesens effectivum*). Применительно прежде всего к чешскому мысль о том, что презенс сов. вида здесь — это не будущее, а настоящее, развивал О. Зайдель [12], против чего в соответствии с упомянутым выше промежуточным положением чешского, его тяготением к двойной интерпретации акциональных смыслов во временных планах, возражал Ф. Копечный [13]. По отношению к представителю другого полюса — русскому языку примечателен вывод А. В. Бондарко, который специально исследовал вопрос о возможности актуального настоящего сов. вида: такое настоящее в русском языке — только исключение из правил о неспособности перфективных презенсов выступать

⁴ Украинские и белорусские примеры ввиду их содержательно-лексической близости соответствующим русским предложениям цитируем без перевода.

в функции актуального настоящего, причем конкретные случаи использования названных форм в этой функции таковы, «что они не опровергают правило, а лишь подтверждают его» [14].

О степени сдвига от одного способа темпоральной локализации процесса к другому в каком-либо славянском языке можно судить уже по чисто количественным различиям в употреблении перфективного презенса в плане актуального или исторического настоящего. Основания для того, чтобы думать именно так, заключены в деталях различий, неодинаковости представления признаков действия формам¹ сов. и несов. видов. В свете изложенного достаточно очевидным можно считать тот факт, что, если язык ориентирован на представление во времени деятельности, для него несущественно обозначение интенсивности действия, и, наоборот, если язык ориентирован на представление во времени действия, для него обозначение этой особенности процесса является существенным. Вот почему даже в тех языках, где достаточно заметен переход от «акционального» к «деятельностному» способу темпоральной локализации события и, следовательно, в актуальном настоящем и НИ значительно преобладают имперфективы, сов. вид «задерживается» именно там, где необходимо подчеркнуть (воспроизвести) интенсивность действия (ср. [15]). В актуальном настоящем и в НИ, таким образом, перфективный презенс обозначает то, что несов. вид здесь, в сущности, выразить не в состоянии — присущие действию быстротечность, динамичность, интенсивность и т. д.

Как вытекает из сказанного выше, различные славянские языки на потребность обозначить упомянутые видовые оттенки в НИ откликаются неодинаково. По отношению к словенскому языку, в целом ориентированному на «акциональный» способ темпоральной локализации фактов, названные оттенки едва ли следует считать особым фактором употребления форм презенса в НИ, так как сов. вид глагола используется здесь при обозначении не только указанных, но и других оттенков. Ср.: (11) *Blizu Nomenja mi pa štrbunkne na voz nekaj težkega. Prebudim se. Iz grmovja od cesti nekdo zaklicē: «...Lahko noč!»* (F. S. Finžgar) «Близ Поменя ко мне на воз бухается (букв. бухнется) что-то тяжелое. Просыпаюсь (проснусь). Из кустарника у дороги кто-то кричит (закричит): «...Спокойной ночи!» В сербохорватском и особенно чешском и словацком языках, создающих, как отмечалось выше, возможности двойной интерпретации во времени акциональных смыслов, определяющая в функциональном отношении роль названных оттенков, хотя пока не абсолютна, однако в достаточной степени заметна. Ср. ниже различие реализуемых семантических оттенков с соответствующим ему видовым несходством презенсных формаций в примерах из названных языков.

Схрв.: (12) *Цар се смеје и главом потарђује да је разумео да је у питању генерал Деканева* (С. Стаић) «Царь (Милош Царевич) смеется и головой подтверждает, что понял: имеется в виду генерал Деканева»; (13) *Пустите нек свршим, господине Палфи — одсјекне оштро госпа Уршула. — Све ваља вам чути, па онда судити* (А. Шеноа) «Дайте мне закончить, господин Пальфи, — резко прерывает (букв. прервет) его госпожа Уршула. — Вы должны все выслушать, а потом только судить». Общий тезис об определяющей функциональной роли ряда акциональных оттенков по отношению к употреблению разновидовых презенсов в НИ в данном случае находит подтверждение в том, что действие сочувственного согласия (*потарђује*) в (12) и резкого пресечения несогласия (*одсјекне*) в (13) обозначены неодинаковыми видовыми формами настоящего.

В (14) и (15) аналогичный контраст оттенков в свою очередь детерминирует использование имперфективов (*pýta, povída*) и перфективов (*štrhne, vysupe, zařve* и др.) в НИ: (14) словц. *Súdca sa pýta: «Prečo ste Kupkovi nezaplatili zvyšujúcu čiastku 1800 korún?»* А он са *štrhne, tvár sa mu údivom predlži, že brada mu až k pupku siaha a vysupe zo seba na podiv sveta: «Ja? Ved'ja s ním, s Kupkom, mám účty vyrovnané!..»* (P. Jilemnický) «Судья спрашивает: „Почему вы не выплатили Купке причитающиеся ему 1800 крон?“ А он срывается (букв. сорвется) с места, лицо вытягивается (вытя-

нется) в удивлении так, что челюсть чуть ли не до пупка достает, и выпаливает (выпалит) из себя ко всеобщему удивлению: „Я? Да мы с пим в расчете!...“; (15) чешск. «Ruht!» — povídá pan obršt a chodí po dvoře, seká si bičíkem přes holínku, pliva, pak najednou se zastaví a zařve, „Abtreten!“; sedne si na svou herku a už je z brány venku (J. Hašek) «„Вольно!“ — командует господин полковник и начинает ходить по двору, сечет себя хлыстом по сапогу, плюется, потом вдруг останавливается (букв. останавливается), кричит (букв. заорет): „Разойдись!“, садится (сядет) на свою клячу и вон из ворот».

В русском, украинском, белорусском и польском языках, некоторых болгарских говорах⁵ употребление сов. вида в НИ единичного действия обусловлено исключительно необходимостью представить процесс интенсивно-мгновенно. Существенно, что данный оттенок форма перфективного презенса обозначает не самостоятельно, а в контакте с частицей (*как, как и др.*; см. [1, с. 54]), которая, абсолютизируя в указанной форме признак законченности действия, в тексте или предложении обеспечивает двойное смысловое соответствие: а) между формой-субститутом и формой — непосредственным аналогом временного плана (прошедшего совершенного; перфективный презенс и перфективный претерит различаются тем, что первая форма представляет видовой признак законченности действия как относительный, вторая — как абсолютный [16]); б) между общим значением синтагмы и соответствующим, «деятельностным», способом темпорального представления процесса. Например: (16) белор. *Гэта ж, ведаеце, зайшоў ён у хату ды адразу і бух з парога: «Здароў, бацька!» А Іван падскочыў на лаве ды як закрычыць: «Сабака табе бацька, а не я!..»* (М. Гіль); (17) русск. *Тигра стволот-то водит, как слепой, ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок, — брызги! Как даст еще в башню, — он и хобот задрал... Как даст в третий, — у тигра изо всех щелей повалил дым, — пламя как реанется из него на сто метров вверх...* (А. Н. Толстой).

Вместе с тем, что особенно важно, частица сигнализирует о том, что в таких примерах речь идет о **п о к а з ы в а н и и**, а не воспроизведении факта, скрытым ориентиром чего является вопрос «Как это было (произошло)?» (см. ниже). Логически показывание и воспроизведение противопоставлены на основе объективных различий в осуществлении факта: условием воспроизведения выступает незавершенность, развертывание, обычность факта, условием показывания, представления выступают снятие, завершенность, необычность, неожиданность такового (что и отражено в примерах 16—17). Кроме того, воспроизведение отражает коммуникативные потребности говорящего (деятели) и обычно предваряет показывание, которое отвечает коммуникативным потребностям слушающего, наблюдателя. Иными словами, воспроизведение — это как бы предпосылка показывания, которое осуществляется исключительно в интересах слушающего. При этом важно иметь в виду, что воспроизводятся обычно обусловленные действия, показываются необусловленные. В тексте *Иду вчера по улице. Вдруг подходит ко мне Петр* первая форма (*иду*) воспроизводит действие, это действие обусловлено («случилось мне вчера идти по улице»), вторая форма (*подходит*) показывает действие; необусловленный характер этого действия здесь обозначен наречием *вдруг*. Необусловленное действие всегда результативно, поэтому при исходном видовом (имперфективном) равенстве форм в НИ показывание от воспроизведения отличается асимметрией знака и значения: в уже цитированном *Тогда он входит и говорит*, например, знаки имперфективны, значения перфективны. О фикции или фиктивности факта в НИ можно говорить, только имея в виду его показывание, а не воспроизведение⁶.

⁵ Опираемся на наблюдения А. В. Бондарко [1, с. 54].

⁶ Равным образом, осознание фиктивности факта — это осознание того, что некое (необусловленное) действие имеет свой результат, как факт уже состоялось.

В языке, дифференцирующем понятия действия и деятельности, по признаку завершения безусловное действие приравнивается к деятельности, так как в этом случае безусловным будет лишь завершение деятельности, но не действия (завершение действия обусловлено соответствующей деятельностью). Из этого следует, что если речь идет о деятельности и она не воспроизводится, а показывается, «подается» как действие, о чем уже говорилось выше, она мыслится законченной. Если же деятельность воспроизводится или, наоборот, действие показывается, подается как деятельность, реализуемым смыслом должна быть незаконченность (как длительность или повторяемость). В русском и других языках его ряда жесткая зависимость функции формы от доминирующего способа темпорального представления факта предопределяет то, что относительный по семантике перфективный презенс, приспособляясь к доминирующему здесь «деятельностному» способу представления времени, постоянно транспонирует свою относительность в контекст (план) абсолютности — **в ы н у ж д е н н о** участвует в обозначении повторяющегося действия (выступает как аналог итератива) и в обычном плане настоящего [14, с. 202], и в НИ [17]. Например: (18) русск. *Она то вздохнет, то задумается, сидит минут пять и смотрит в угол, то опять вздохнет и погладит большого бурого кота...* (Ф. Решетников); (19) укр. *Ще й ніп не поблагословить людям йти з церкви, а вона зараз так і попре з цвинтаря, аж намітка на йй метляється!* (І. Нечуй-Левицький); (20) белор. *Сёння Ларыса... сядзела нібыта спакойна. Але сэрца кудысьці спяшалася. Вачыма схопіць некалькі радкоў у швытку і глядзіць у адталую шыбу* (І. Грамовіч). Соотносительность действия одной формы с действием другой формы в (18—20) обязательна в силу того, что говорящий здесь ориентируется на структуру деятельности, на абсолютное — стремится представить характер занятий субъекта (именно деятельность — абсолютное по отношению к преходящей законченности, выражаемой перфективным презенсом).

Такое употребление не чуждо также словенскому, сербохорватскому, другим языкам их ряда. Этот факт свидетельствует о том, что перфективный презенс — удобное средство показывания деятельности (как повторяемости) и там, где он обычен в НИ единичного действия. Ср. (21) схрв. *Испред нас пролазе тужне старице. Застају, гледају нас, шапћу и расту тују се о нама. Понека заклмита главом, брада јој задрхти и из очију потеку сузе* (С. Стаић) «Перед нами проходят печальные старухи. Останавливаются, осматривают нас, шепчутся и расспрашивают о нас. Какая-нибудь начнет качать головой, подбородок у нее задрожит и из глаз потекут слезы». Опираясь на сказанное выше о различии между воспроизведением и показыванием, таким образом, можно отметить, что в одних языках (словенском, сербохорватском, лужицких, чешском и словацком) перфективные презенсы воспроизводят действия (в их законченности и незаконченности, стремительности, интенсивности и т. д.) и «показывают», представляют деятельность, в других же (типа русского) — только показывают, представляют деятельность, а как средство воспроизведения действия (прежде всего в НИ) уже не используются. В любом случае, однако, т. е. независимо от того, показывается или воспроизводится действие, собственно НИ — это всегда п р е д с т а в л я е м о е время, п о к а з ы в а е м о е настоящее. Отсюда та связь, которая существует между НИ и настоящим сценическим. Ср. наст. сцен.: (22) макед. *Еден миг Павлина го гледа зачудено. Потоа, тргнува кон вратата. Влегува Цветко, расположен, весел, решителен* (Б. Пендовски) «Одно мгновение Павлина с удивлением смотрит на него. Потом направляется к двери. Входит Цветко, бодрый, веселый, решительный». Безусловно, эта связь в еще большей степени проливает свет на функции ПИ. Настоящее сценическое (в авторских ремарках) предписывает характер показывания того, исход чего заранее известен автору, т. е. отражает не проспективный, а ретроспективный взгляд на происходящее. Этим также обусловлена ука-

занная асимметрическая интерпретация презенсных знаков, и, что особенно важно, детерминирован выбор средств, более всего отвечающих такой интерпретации, иным требованиям позиции (функций) НИ.

Занимаясь вопросом о своеобразии позиции НИ, его системных связях в различных славянских языках, важно учитывать: 1) отношение функционально-семантической и формообразовательной производности; его надлежит связывать с условиями транспозиции; 2) отношение генетической производности; его важно иметь в виду при рассмотрении исторических связей между формами настоящего и прошедшего (например, перфективного презенса и аориста). Анализ данных отношений расширяет возможности объяснения специфики НИ, позволяет уточнить различия, а также относительную хронологию функций и форм прошедшего и настоящего. Ввиду ограниченного объема статьи ниже высказываются только некоторые соображения по указанным аспектам.

Что такое транспозиция в плане установления относительной хронологии функций формы? Чтобы составить себе предварительное представление о транспозиции в данном аспекте, рассмотрим переносное употребление слова *зверь* — использование его в том случае, когда речь идет о характеристике какого-либо лица. Такое употребление специфично тем, что синонимами к *зверь* в этом случае будут прежде всего слова *грубый*, *жесточкий*, *безжалостный* и т. п., т. е. слова, не являющиеся существительными. Синонимы, однако, — это, как правило, слова одной части речи. Что же произошло со словом *зверь* в переносном употреблении? Оно стало прилагательным? Имя, как известно, изначально синкретично — сочетает в себе свойства прилагательного и существительного (ср. др.-греч. ἀδελφός «братский» и «брат»), такую синкретичность, надо полагать, и представляет обсуждаемое употребление слова *зверь*. Транспозиция, следовательно, отражает прежнее (предшествующее в относительной хронологии) распределение функций в системе: функция как результат транспозиции — это функция, бывшая некогда изначальной для формы. Иными словами, транспозиция актуализирует с и м в о л, внутреннюю форму слова (морфологического образования) — «предшествующее значение», «употребляемое как знак другого значения» [18].

Применив сказанное о транспозиции к характеристике НИ, изложенное выше можно дополнить следующими замечаниями. Во-первых, перфективное (асимметрическое) и имперфективное истолкование в ряде славянских языков настоящего несовершенного как НИ, помимо указанного, предопределено различием символов, «предшествующих значений» соответствующих презенсов — значений, реализуемых формами прошедшего в их прямом употреблении. По сравнению с такими формами НИ дает преимущество в том плане, что позволяет одни действия представить как обусловленные, другие — как необусловленные (см. выше). Во-вторых, перфективное истолкование имперфективных форм в НИ детерминировано жестко задаваемым этой позицией направлением производности — формообразовательной и функционально-семантической производностью форм несов. вида от форм сов. вида. Последним объясняется то, что для обозначения перфективных (необусловленных) действий в языках типа русского в НИ и настоящем спеническом используются прежде всего производные от глаголов сов. вида вторичные имперфективы (типа макед. *тропнува*, болг. *попписвам*, русск. *прочитывать* и т. д.), обычно не употребляющиеся в плане актуального настоящего. Ср. (23) русск. *Здесь Торнтон проговаривается о подлинной цели тайного перехода через афганскую границу...* (Известия, 1985, 6 XI). Нетрудно заметить, что *проговаривается* для обозначения актуального действия неприменимо. В то же время существенно (и закономерно), что вторичные имперфективы функционируют как специфическое средство обозначения деятельности: (24) русск. *Каждый день он прочитывает несколько газет.*

Вторичные имперфективы удобны в НИ потому, что, как это и требуется от НИ, передают (показывают) действие в соответствии с коммуникативными потребностями слушающего — выражают очевидную для говорящего, но неизвестную для слушающего информацию об итоге действий,

перипетиях разворачивания события. Взгляд на действие с позиции говорящего, наоборот, отражают первичные имперфективы, передающие каждое действие как проспективное, актуальное и динамическое (ср. *Дом горит, Петр кбсит* при невозможности в актуальном плане *Дом сгорает, Петр скашивает*); позиция слушающего тем самым игнорируется, ибо первичные имперфективы, не предсказывая форму перфектива, оставляют невыраженной очевидную для говорящего информацию о характере законченности/незаконченности действия. При использовании вторичных имперфективов, напротив, игнорируется позиция говорящего, поскольку эта позиция соотносительна с позицией деятеля, создающего событие в многообразии его актуальных, наглядно-динамических деталей, и «удовлетворяется» позиция слушающего. Позиция слушающего — это позиция субъекта, намеревающегося услышать рассказ о состоявшемся событии, его деталях и т. п. В одном случае, следовательно, — при употреблении первичных имперфективов — критерием использования глагольных форм служит информация о времени (+АКТУАЛЬНОСТЬ, но ±ВИД), в другом случае — при использовании вторичных имперфективов (т. е. в ПИ) — критерием служит информация о виде (+ВИД, но ±АКТУАЛЬНОСТЬ), что целиком отвечает позиции слушающего. Информация о виде не составляет тайны для говорящего (деятеля), важна она только для слушающего, для которого главным является вопрос: *Как это было? Как это произошло?* Разумеется, важность информации о виде в НИ подтверждают и те славянские языки, которые опираются в этой позиции на формы перфективных презенсов (см. выше). Таким образом, и в данном плане НИ — это прием изображения действий, используемый в интересах слушающего.

Толкование НИ как транспозиции при обязательном учете следствий такого подхода — установлении относительной хронологии функций и форм указывает, во-первых, на производность функции прошедшего от функции НИ и, охватывая явления более широко, — на производность функции прошедшего от функции настоящего, что подтверждает сказанное о связи этих функций Е. Куриловичем [19]; во-вторых, объясняет, почему при естественной тенденции к морфологической дифференциации образований прошедшего и настоящего по языкам до сих пор нередки совпадения форм презенса и претерита (см. настоящее и перфект в латыни, презенс и аорист в древнегреческом, южнославянских языках). В свое время в польской лингвистике очень активно обсуждался вопрос о факторах употребления перфективных презенсов при обозначении действий, относящихся к прошлому. Ср.: (25) польск. *Gdy więc wzajem znudzeni z miejsca już ruszali: — Przebaczcie — rzekną chłopci — żeśmy was wstrzymali* (Л. Кротиński) «Когда уж, измучив друг друга, домой отъезжали: — Извините, — сказали (букв. скажут) мужики, — что мы вас задержали». А. А. Крынский считал, что в данном случае мы, с одной стороны, имеем дело с формальным совпадением презенса и аориста, с другой стороны, с перенесением функций аориста на формы перфективного настоящего [20]. Возражая А. А. Крынскому, Я. Лось отметил, что формальное совпадение презенса и аориста, соответственно, влияние аориста на перфективный презенс не могут считаться причиной обсуждаемого употребления, так как оно известно и тем славянским языкам, в которых никогда ни одна форма аориста не была подобной ни одной форме настоящего [21]. Также не соглашаясь с А. А. Крынским и частично повторяя аргументы Я. Лося, С. Шобер то же употребление перфективных презенсов пытается объяснить, исходя из их способности выражать следование по отношению к другому действию, которую он связывает с видовым значением таких форм [22].

Ключевые моменты изложенной дискуссии, как видно, со своей стороны подтверждают сказанное о соотношении форм и функций презенса и претерита: идеи А. А. Крынского не были приняты именно потому, что он исходил из ложного представления о соотношении (относительной хронологии) указанных функций. Функционально-семантически, т. е. применительно к сложившимся в современной системе отношениям, перфективный презенс, выступающий в функции НИ, действительно про-

изведен от претерита (аориста), генетически (исторически) же, наоборот, претерит произведен от презенса, в относительной хронологии следует за ним. Осуществляя сопоставление функций форм славянских языков, важно иметь в виду, что существующая лингвотеретическая кодификация, безусловно, накладывает свой отпечаток на наши представления о формах и их функциях, иногда заставляя противопоставлять явления, которые и системно, и функционально противочлены не являются. Последнее касается, например, перфективного презенса в словенском, в сущности, функционально ничем не отличающегося от болгарского или македонского аориста; аориста и перфективного презенса в сербохорватском (ср. [23]), ряда других соотношений по славянским языкам, в том числе и того, на которое в свое время обратили внимание А. А. Крынский, Я. Лось, С. Шобер, другие лингвисты. Гносеологические средства (понятия, термины), описывающие эти явления, должны быть гибкими в той же мере, в какой онтологически проявляется конкуренция и смещение функций и морфологических особенностей форм. При таком подходе, вероятно, различия между славянскими языками, касающиеся использования видо-временных глагольных форм в НИ, о которых шла речь выше, окажутся не столь резкими и значительными, как это, может быть, получилось в представленном их описании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондарко А. В. Настоящее историческое в славянских языках с точки зрения глагольного вида.— В кн.: Славянское языковедение. М., 1959.
2. Raub G. Tempora als deiktische Kategorien. Eine Analyse der Tempora im Englischen und Deutschen.— Indogermanische Forschungen, 1984, 89. Bd., S. 10.
3. Горшков А. И. По поводу концепции трех времен современного русского глагола.— Уч. зап. Читинского пед. ин-та, вып. 4. Чита, 1959, с. 269.
4. Koschmieder E. Zeitbezug und Sprache. Ein Beitrag zur Aspekt- und Tempusfrage. Leipzig—Berlin, 1929.
5. Hermann E. Aspekt und Zeitrichtung.— Indogermanische Forschungen, 1936, 54. Bd., S. 262—264.
6. Debrunner A. Rec. ad op.: Koschmieder E. Zeitbezug und Sprache. Ein Beitrag zur Aspekt- und Tempusfrage. Leipzig—Berlin, 1929.— Indogermanische Forschungen, 1930, 48. Bd., S. 92.
7. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976, с. 531, 536.
8. Луценко Н. А. Вид и предикативность.— Филологические науки, 1987, № 2, с. 47.
9. Деянова М. За една особеност на употребата на свършения глаголен вид в словенски и словачки език.— Език и литература, 1967, № 4, с. 59.
10. Skrabec S. Zum Gebrauche der Verba perfectiva und imperfectiva im Slovenischen.— Archiv für slavische Philologie, 1903, 25. Bd., Hf. 4, S. 554—564.
11. Menece J. Zur Präsenzfrage perfektiver Verba im Slovenischen (Praesens effectivum).— Archiv für slavische Philologie, 1906, 28. Bd., S. 40—51.
12. Seidel E. Zur Futurbedeutung des Praesens perfektivum im Slavischen.— Slavia, 1939, № 1—2, s. 1—32.
13. Kopečný F. Dva příspěvky k vidu a času v češtině.— Slovo a slovesnost, 1948, № 3, s. 154—158.
14. Бондарко А. В. К истолкованию понятия «функция».— Известия Академии наук. Серия литературы и языка, 1987, № 3, с. 205.
15. Holthusen J. Zur Aktionsart der negierten Präsens perfektiver momentaner Verben im Russischen.— Zeitschrift für slavische Philologie, 1951, 21. Bd., Hf. 1, S. 93.
16. Луценко Н. А. К семантической типологии видо-временных систем славянских языков.— Советское славяноведение, 1987, № 4, с. 86.
17. Авдеев Ф. Ф. О выражении повторяющихся действий глаголами совершенного вида в историческом настоящем.— Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 434. Тарту, 1977, с. 66—75.
18. Кудрявский Д. И. Введение в языковедение. Юрьев, 1912, с. 38.
19. Kurýłowicz J. Podstawowe kategorie morfologiczne.— Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 1971, z. XXVIII, s. 9.
20. Kryński A. A. O aoryście w języku polskim.— Prace filologiczne, 1888, t. II, s. 265—275.
21. Loš J. Syntaktyczne użycie form gramatycznych.— In: Encyklopedia polska. T. III, dział III, cz. II. Język polski i jego historia. Kraków, 1915, s. 158.
22. Szober S. Użycie form czasu przyszłego w opowiadaniu historycznym na oznaczenie czynności minionych.— Język polski, 1921, № 2, s. 33—41.
23. Бондарко А. В. Настоящее историческое глаголов несовершенного и совершенного видов в современном литературном сербохорватском языке.— Уч. зап. ЛГУ, № 250. Серия филол. наук, вып. 44. Л., 1958, с. 141—167.



К ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЙ ШКОЛЫ: ДВЕ СТАРОСЛАВЯНСКИЕ КАЛЬКИ В СУПРАСЛЬСКОЙ РУКОПИСИ

При параллельном чтении греческих и славянских текстов прежде всего поражает чрезвычайно высокий уровень переводческой техники представителей кирилло-мефодиевской школы, удивительное знание ими грамматических и лексических потенций народного языка, на основе которого создавался в процессе перевода первый письменный язык славян. На этом пути первопереводчиков ждали поистине колоссальные трудности, поскольку столкнулись две языковые стихии: греческая, имевшая ко времени перевода более чем тысячелетнюю литературную традицию, и славянская, по преимуществу обыденно разговорная, ср. об этом [1] (здесь оставляется в стороне сложный вопрос о существовании к этому времени в дописьменном языке славян элементов ритуальной, правовой и т. п. лексики).

Предстояло создать эквивалентную славянскую абстрактную лексику как субстантивную, так и глагольную из сферы духовных понятий и обозначений неконкретного действия, отразить необычайно продуктивные в греческом префиксальные модели, сложные слова (способ образования весьма малопродуктивный в славянских диалектах, особенно в именах), разнообразие гипотактических конструкций и многое другое. Создание новых лексических единиц языка перевода осуществлялось преимущественно путем прямого заимствования греческой терминологии и калькирования лексем греческого оригинала. Основные способы калькирования при образовании новой славянской лексики были следующие: 1) поморфемный перевод, передача каждой морфемы греческой лексемы в отдельности (нем. Lehnbildung, уже Lehnübersetzung или Glied-für-Glied-Übersetzung, франц. calque), например, **бесловеснь** — *ἄλογος* (Супр. 27. 16), **бесловьнь** — *ἀλόγιος* (Супр. 443. 16), **бесъмрътик** — *ἀθανασία* (Супр. 517. 25), **бестрастьнь** — *ἀπάθης* (Супр. 436. 19), **чоудодѣнниѣ** — *θαυματουργία* (Супр. 337. 29), **чоудодѣниѣ** — *θαυματουργία* (Супр. 315. 29), **чоудотворениѣ** — *θαυματουργία* (Супр. 23. 28 — греческая оппозиция в подобранном эквивалентном тексте отсутствует), **въскрѣшенъѣ** — *ἀνάστασις* (Супр. 479. 13), **въскрѣлити** — *ἀναπερθεῖν* (Супр. 319. 2—3) и под; 2) подбор лексического эквивалента по частичной общности семантических объемов (нем. Lehnbedeutung, франц. calque sémantique), например, **дръжати** — *κρατεῖν* (Евх. Син. 55b. 14), **дръжавьнь** — *κραταίος* (Евх. Син. 55 b. 15), **доуша** — *ψυχή* 'душа — *ψυχή* 'душа как жизненная сила' (Мар., Зогр.), **доуша** — *ψυχή* 'живое существо; человек' (Мар., Зогр.), **гражданинь** — *πολίτης* (Мар. и др.), **съпаситель** — *σωτήρ* (Супр. 303. 22); **трепетати** — *τρεπεῖν* (Евх. Син. 26b. 15), **троица** — *τριάς* (Супр. 59. 23); 3) пословный перевод фразеологических оборотов (нем. Lehnwendung, франц. calque phraséologique), например, **шѣствиѣ творити** — *πορεύειν ποιεῖν* = *iter facere* и под. [2—4].

Неслучайно большинство примеров подобраны из Супрасльской рукописи, так как благодаря изданию этого памятника с параллельными текстами, комментарием и факсимильным воспроизведением оригинала, осуществленному Иорданом Заимовым и Марио Капалдо [5], мы получили редкую возможность иметь под рукой все необходимые для филологической работы компоненты.

Не будем вдаваться в схоластический спор, к первичному или вторичному разряду источников при интерпретации старославянских текстов следует отнести язык греческого оригинала¹: в случае с кальками, аналогично прямым заимствованиям типа адъ — ἄδης, ангель — ἄγγελος и пр., это может решаться только односторонне в пользу несомненной первичности греческих источников (не лишне отметить, что по самым приблизительным подсчетам на основе коллекции Шумана и словаря Садник и Айцетмюллера лексические кальки составляют не менее 1/6 части лексики старославянских канонических текстов).

Выделяемые мною кальки — **въ лѣпотѣ и на тризнахъ** (Супр. 376. 10) — представляют собой предложные конструкции и могут быть несколько условно отнесены к разряду *Lehnwendung*. В целях доказательства данной мысли недостаточно указать на соответствующие лексемы греческого оригинала, но необходимо рассмотреть старославянский и греческий параллельные контексты в целом. При этом текст греческой вульгаты предельно прозрачен и прост для понимания, что существенно облегчает нашу задачу. Приведу весь отрывок Супр. 376. 6—11 с параллельным греческим текстом:

6 двѣ бо примый
7 двѣ прида' и иже пять такожде' оноуле
8 же пожеже отъ тогожде положениа' овъ
9 множай и овъ же хоуждей привошь показа-
10 ста' да въ лѣпотѣ и на тризнахъ не тѣчъ-
11 но приимета.

6 ὁ γὰρ δύο λαβών
7 δύο ἔδωκε, καὶ ὁ τὰ πάντες ὁμοίως· ἐκεῖ
8 δὲ, ἐπειδὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως ὁ μὲν
9 πλείονα, ὁ δὲ ἐλάττονα πρόσδοτον ἐπέδειξαν —
10 το, εἰκότως καὶ ἐν τοῖς ἐπάθλοις οὐχ ὁμοίως
11 ἀπολαύουσιν

Старославянский текст и содержательно и грамматически (с небольшими нюансами) практически слово в слово, конструкция в конструкцию совпадает с греческим. Вот их общий перевод на русский язык:

6 Ибо два взявший,
7 два отдал, и пять взявший так же, вот же
8 поскольку от того самого положенного, один
9 больший, другой меньший доход пока-
10 зал, то по справедливости и в наградах не рав-
11 но вкушают.

Высокая техника перевода проявляется, в частности, в подборе грамматически точных славянских эквивалентов греческих глагольных форм. Вместе с тем, ориентируясь на славянский речевой узор, современный переводчику, он отступает от греческого оригинала, употребляя *dualis*, как и в других, в частности, евангельских текстах [7]. Так, греч. λαβών (part. praes. act.) — ст.-слав. **примый**; ἔδωκε (3 sg. aor.) — **прида**; поскольку речь идет о доходах с двух человек, то ἐπέδειξαντο (3 pl. aor.

¹ Из последних работ, решительно относящих текст греческого оригинала к вторичным источникам, см. [6], где автор ратует за применение этимологического анализа для объяснения отдельных грудных мест в старославянском тексте, а установившаяся довольно тривиальная родство *-обид-* (из *ob-vid-) и *-адд-*, апеллирует не только к индоевропейскому, но даже к ностратическому уровню. На мой взгляд, в подобных обстоятельствах единственно существенным является интерпретация греческого эквивалента в соответствующем контексте. Более того, множество мест в старославянских текстах особенно содержащих гапаксы, не могут быть поняты адекватно лишь с привлечением этимологии, без подробного анализа соответствующего фрагмента оригинального греческого текста.

med.) соответствует **показаеста** (3 du. aor.), ἀπολαύουσιν (3 pl. praes.) — **приимета** (3 du. praes); причем время и залог сохраняются в неприкосновенности. Принцип пословного перевода только два раза нарушается: незначительными вставками писца: 9 — и [5, т. II, с. 213, прим.], 10 — да (а из черты начатого в) [8].

В одном лишь месте переводчик испытал явное затруднение, а именно тогда, когда ему пришлось передавать интересующий нас здесь специально греческий предложный оборот ἐν τοῖς ἐπάθλοις через ст.-слав. эквивалент **на тризнахъ**, употребив предлог **на** вместо ожидаемого **въ**. Сейчас уже невозможно представить все мотивы, побудившие переводчика к поморфемному калькированию греческого приставочного образования ἐπ(ι)-άθλοις, но, как это ни странно, обследование большинства авторитетных старославянских, церковнославянских и древнерусских словарей (Миклошич, Садпик и Айцетмюллер, Чешский словарь, Срезневский, Словарь русского языка XI—XVII вв.) показало, что в его распоряжении не было слова **награда**. Судя по всему, этот явный церковнославянизм [9, т. III, с. 37] появился, во всяком случае в русской традиции, не ранее XVII в.: **наградити** 'возместить кому-либо (убытки, потери)', **награждати** 1. 'возмещать потери', 2. 'давать денежное вознаграждение за работу, службу, платить жалование' [10, с. 57]. Ср., впрочем, восточнославянский этимологический дублет **нагородити**, датируемый концом XVI — началом XVII в. [10, с. 55]; об этимологии слова **награда** см. [9]. Однако в славянском было слово *truzna/*trizna², по-видимому, полностью совпавшее по семантике с греч. ἄθλον, которое в наиболее ранних примерах употребления обозначало (ритуальное) состязание, борьбу, игры, подвиг (за награды), а также самое 'награду, приз в состязаниях' (особенно в XXII песне Илиады), и вообще награду [11, р. 32], ср. русск.-цслав. **тризна** 'борьба, состязание': исходя на **тризною** — εἰς παλαίστρα βαδίζων Златостр. XII в., на **тризною** — πρὸς τὸ στάδιον 10 Лѣств. XII в., ἐπὶ τὸ σκάμια Муч. Марк. св. 2. Мин. чет. апр. 629; **тризна** 'награда': **трызнѣ обрѣтъ прѣставлениѣ** — ἄθλον εὐράμενος τήν μετάθεσιν Гр. Наз. XI в. 86. Прочие примеры, подтверждающие значение 'торжественные поминки в честь умершего в языческой Руси' у И. И. Срезневского [12], извлечены из эпизодов Повести временных лет, связанных с тризною Ольги по Игорю и заповедью «не творити трызны над собою» и отнюдь не свидетельствуют в пользу значения 'поминальный пир', ср. [13]. По моему мнению, распространение семантического объема слова **тризна** от 'ритуального состязания при похоронах' на весь погребальный обряд, включая 'поминальный пир', произошло позднее [14]. Совмещение этих значений если и возможно, то только на уровне реконструкции, на основе поздних диалектных данных — ср. [15; 16; 9, т. IV, с. 102], где объединяются значения 'погребальное состязание' и 'пиршество'; несколько иначе [17]. Все производные русск.-цслав. **тризна** = **трызна** и **трызнѣ** = **трызнѣ**, согласно словарю Срезневского, имеют семантику, связанную с состязаниями, борьбой и пр.

В Супрасльской рукописи переводчик столкнулся в греческом тексте не с корневым ἄθλον, а с приставочным ἐπάθλον 'награда в состязаниях' (обычно в pl.), засвидетельствованным в греческой традиции сравнительно поздно (Еврипид, Плутарх), а еще позднее имевшем общее значение 'награда' [11, р. 603], как в данном среднегреческом источнике Супрасльской рукописи; слово было включено в форме ἐπάθλοις (dat. pl.) в предложную конструкцию с ἐν. Переводчик, правильно установив морфемный шов, сосредоточил свое внимание на передаче приставки ἐπ(ι) —. Он предпочел пожертвовать предлогом, тем более, что **въ** уже было использовано в предыдущем обороте (см. о нем ниже), и передать наиболее общее значение данной приставки ее точным предложным эквивалентом **на**, проявив гиперкорректность в следовании преобладающей тенденции к «буквальному» пословно-грамматическому переводу, полностью оставаясь

² М. Фасмер [9, т. IV, с. 102] не без оснований склонен рассматривать в качестве праславянской первую форму: в Изб. 1073, Лавр., Ипат., в отличие от Супр., **трызна**.

в русле кирилло-мефодиевской традиции. Следует также учитывать, что предлог *ἐν* при локативе мог иметь значение ст.-слав. предлога *на*: *ἐν τῷ πεδίῳ* 'на равнине'. Таким образом, оборот *на тризнахъ* калькирует одновременно и предложную конструкцию, и субстантивное приставочное образование, т. е. ст.-слав. *тризна* соответствует *ἄθλον*, а *на тризнахъ* — *ἐπάθλοισι*: нюанс, опускаемый всеми словарями и даже специальным словарем Мейера к Супрасльской рукописи, где дано «тризнахъ L. Pl. ἐπάθλον 376, 10» [48, S. 259] (в то же время s. v. *на* с лос. данная конструкция пропущена [48, S. 129]; С. Северьянов указал эквивалент: *на тризнахъ ἐν τοῖς ἐπάθλοισι* [8]). Все изложенное недвусмысленно подтверждает намеченный ранее вывод о том, что для праславянского можно с достаточной определенностью реконструировать исконную лексему **truzna* '(ритуальные) состязания, борьба (за награду)'.

Особый интерес вызывает функция приставки *ἐπι-* в *ἐπάθλον*. Это приставочное образование должно быть отнесено к разряду так называемых «*hypoästasierte Komposita auf -os und -ios*» [49], аналогично *ἐπαυλος* 'скотный двор, стойло; местопребывание, жилище' (начиная с Софокла), ср. *αἴλιον* 'хижина, лачуга; скотный двор, стойло'; *ἐπάρουρος* 'землепашец, пахарь', ср. *ἔρουρα* 'пахотная земля, пашня и пр.; земля территория'; *ἐπουράνιος* 'небесный, живущий на небе; (под)небесный', ср. *οὐράνιος* 'небесный, достигающий неба, гигантский; огромный, безмерный'. Эти примеры наглядно показывают, что в подобных приставочных именах, как и во всех прочих случаях, приставка служит специализации, точнее, отграничению основной семантики бесприставочного существительного от других его значений при достаточно далеко продвинувшейся семантической эволюции производящего слова; то же самое наблюдается и в глаголах. В отношении интересующего нас *ἐπάθλον* 'награда в состязании', вообще 'награда', ср. упоминавшееся неоднократно *ἄθλον*, у которого кроме этих, по всей вероятности, первичных значений, имеются и другие: 'состязания, игры, борьба' (уже у Гомера); 'тяжелое испытание, мука'; Pl. 'место состязаний, стадион, арена' [11, p. 32]³.

Если в обороте *на тризнахъ* перед нами живой, трепетный акт создания новой кальки, так и оставшейся по разным причинам гапаксом в старославянской и церковнославянской литературе, то в случае с передачей предшествующего в той же строке (376. 10) *εἰκότως* через *въ лѣпότη* (асс. sg.) переводчик, как и в случае с другими предложными конструкциями, ср. *съ лѣпότη* (gen. sg.) — также *εἰκότως* (412. 1—2, 392. 1—2), *ἀναγκαίως* (364. 28), *καλῶς* (368. 7), *εὐλόγως* (392. 3—4), воспользовался уже готовой, до него созданной адвербиальной калькой, оставаясь в русле кирилло-мефодиевской переводческой традиции. Трудность постулирования здесь кальки заключена в том, что мне не удалось обнаружить в греческих христианских текстах ее прототипа [23, S. 882, s. v. *κόσμος*; 24, p. 771 ff., s. v. *κόσμος*]. Тем не менее, я беру на себя смелость по ряду причин настаивать на достоверности предположения о калькировании. Первопереводчики Кирилл и Мефодий настолько хорошо знали как обыденный, так и классический греческий язык, что, опираясь на широко распространенные, во всяком случае в литературном греческом классического периода, адвербиальные предложные конструкции: *κατὰ κόσμον* (с Гомера), *σὺν κόσμῳ* (с Геродота), *ἐν κόσμῳ* (Plat. Smr 223b) 'по порядку, соответственно, должным образом и т. п.' [11, p. 985], они были в состоянии выбрать опорное слово *лѣпота*, которое в сочетании с предло-

³ К интерпретации ст.-слав. *тризна* в рассматриваемом контексте Супрасльской рукописи дважды обращалась Р. М. Цейтлин. В [20] делается попытка истолковать это слово как 'большое (тройное) вознаграждение' с опорой на этимологию О. Н. Трубачева, предположившего в основе ст.-слав. и русск.-цслав. *тризна* славянское числительное **tri* или точнее **trizъ* 'трехгодовалый (о животном, приносимом в жертву при погребении)' [21]. В [6, с. 36] (повторено в [22]) Р. М. Цейтлин толкует то же слово несколько осторожнее, но по-прежнему маловероятно, как 'большое вознаграждение, большая награда', базируясь в основном на «одном из значений греч. приставки *ἐπι-* — 'прибавление, избыток'. Однако такого значения у этой приставки в греческой традиции не засвидетельствовано (см. перечень всех значений в [49]), ср. сказанное выше о ее морфо-семантической функции в данном слове.

тами *съ* и *въ* могло передавать несколько наречий различных оттенков с частично пересекающимися значениями, а именно приведенные выше *εἰκότως*, *ἀναγκαίως*, *καλῶς*, *εὐλόγως*⁴. Этому способствовало употребление в качестве опоры семантической кальки искомого *лѣпота* 'красота, великолепие' [26], эквивалентного греч. *κόσμος*, в его переносных, вторичных значениях 'украшение, наряд; красота'. Важно отметить, что слово *лѣпота* в контексте типа и *въсид лѣпота небесна* также могло выступать в качестве несомненной семантической кальки (*Lehnbedeutung*), передающей также *κόσμος* в высоком христианском смысле 'красота нерукотворной вселенной' [25]. Более того, в христианской византийской литературе к IX в. *κόσμος* стало вообще употребляться только для обозначения краеугольных религиозных понятий 'красота небесная; миропорядок, мироздание, мир' (введено Пифагором), ср. [24], где приведены лишь три контекста на значение 'order' и те в смысле 'небесного порядка', например, из Оригена (III в. н. э.): *πάντα τὸ κόσμον τοῦ οὐρανοῦ*; остальные два из Псевдодионисия Арипагита (V в.). В то же время *κόσμος* в значении 'мир, вселенная' регулярно в славянских христианских памятниках передается словом *мир*, ср., например, Супр. 31. 17 (ном.); 80. 27 (асс.); 83. 27 (ном.); 92. 9 (асс.); 261. 4 (асс.) и т. д. Остается предположить, что первопереводчики, создавая фразеологические кальки *въ лѣпотѣ* (в рассмотренном контексте) и *съ лѣпоты* — в прочих, опирались, по преимуществу, на узус разговорного греческого языка, сохранившего ко времени переводов адвербиальные выражения *ἐν κόσμῳ*, *οὐν κόσμῳ* и *κατὰ κόσμον* 'по порядку, соответственно, должным образом (и под.)'.

⁴ Прочие контексты см. [25].

ЛИТЕРАТУРА

1. Селищев А. М. Старославянский язык. Т. I. М., 1951, с. 27 и др.
2. *Unbegaun B.* Le calque dans les langues slaves littéraires.— *Revue des Etudes slaves*, t. XII, 1932.
3. *Schumann K.* Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altbulgarischen. Wiesbaden, 1958.
4. Чернышева М. И. Эквиваленты, заимствования и кальки в первых славянорусских переводах с греческого языка.— *Вопросы языкознания*, 1984, № 2.
5. Супрасльски или Ретков сборник. Т. I—II. София, 1982—1983.
6. Цейтлин Р. М. Об одном приеме анализа значения древнеболгарского слова (о роли косвенных источников).— *Старобългаристика*, 1984, № 3.
7. Селищев А. М. Старославянский язык. Ч. I. М., 1951, с. 29.
8. Северьянов С. Супрасльская рукопись. Ч. I. СПб., 1904, с. 376, крит. аппарат.
9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. I—IV. М., 1971—1973.
10. Словарь русского языка XI—XVII вв. Т. 11. М., 1983.
11. *Liddell H. G., Scott R., Jones H. S.* A Greek-English Lexicon. Oxford, 1948.
12. Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. III. СПб., 1903, стлб. 996.
13. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 274.
14. Гиндин Л. А. Обряд погребения Аттилы и «гризна» Ольги по Игорю.— *Балто-славянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд. Тезисы докладов.* М., 1985, с. 30—33.
15. Лихачев Д. С. Повесть временных лет. Ч. II. М.—Л., 1950, с. 300—301.
16. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956, с. 212.
17. Топоров В. Н. К семантике троичности (слав. **trizna* и др.).— *Этимология*. 1977. М., 1979, с. 10.
18. *Meyer K. H.* Altkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch des Codex Suprasliensis. Glückstadt—Hamburg, 1935.
19. *Schwyzler E.* Griechische Grammatik, Bd. II. München, 1966, S. 465—473.
20. Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. М., 1977, с. 179.
21. Трубачев О. Н. Следы язычества в славянской лексике. I. *Trizna*.— В кн.: *Вопросы славянского языкознания.* М., 1959.
22. Цейтлин Р. М. Лексика древнеболгарских рукописей X—XI вв.— София, 1986, с. 22—23.
23. *Bauer W.* Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Berlin—New York, 1974.
24. *Lampe G. W.* A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961.
25. *Slovník jazyka staroslověnského.* T. 17. Praha, 1968, s. 153.
26. *Miklosich Fr.* Lexicon paleoslavenco-graeco-latinum. Vindobonae, 1862—1865, s. 350.



ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НЕУЖЕЛИ «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»?¹

За последние годы значительно вырос интерес к истории. Люди хотят глубже осмыслить прошлое. Насколько же современная белорусская историческая наука удовлетворяет читательские запросы? В какой мере она использует достижения соседних республик, социалистических стран? Как она стыкуется с другими науками, в частности, с философией, литературоведением, языковедением, искусствоведением?

В этом письме мы, естественно, ограничимся общим обзором состояния науки, изучающей историю Белоруссии феодального периода.

Даже на лучших наших исторических трудах по периоду феодализма, издаваемых в республике, можно заметить шоры всевозможных ограничений, запретов, замалчиваний, штампы вроде «общепринятых точек зрения» и «давно решенных вопросов». Приходится встречаться с отклонением от фактов, с перевесом в сторону мифов как одной из разновидностей приписок. Мифы начинали рассматриваться как действительная реальность, а попытки нестандартно подойти к прошлому Белоруссии нередко глушились. Частые и произвольные изменения исторических оценок личностей и событий вызывали и вызывают в нашей республике отрицательное отношение к исторической науке, сомнения в том, является ли она вообще наукой, если ее можно поворачивать и так, и сяк. Особенно явственно эти сомнения прозвучали на последних пленумах Союза писателей Белоруссии, в газете «Літаратура і мастацтва». И действительно, Викентий Константинович Калиновский был то «идеологом белорусской и польской шляхты» (Шчарбакоў В. К. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі. Менск, 1934, с. 69), то «сыном ткача», руководившим в 1863 г. уже не шляхетскими, а крестьянскими отрядами, которые «нападали на панов, царских чиновников и отдельные отряды царских войск» (Лючмель И. Ф. Очерк истории борьбы белорусского народа против польских панов. М., 1940, с. 79). Кстати, этот миф о Калиновском как предводителе крестьянских отрядов благодаря обобщающим работам, учебникам и популярным статьям широко проник в читательские, студенческие и школьные круги. Точно так же Франциск Скорина, восточнославянский первопечатник, был то «идеологом панов и купечества» (Шчарбакоў В. К. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі, с. 69), то представителем народных масс...

Запреты в исторической науке привели к появлению своеобразного типа историка, который потерял обратную связь с читателем, ориентирован только на инстанцию, почти лишен чувства ответственности за итоги своих работ. Такому человеку все равно, будет ли читатель читать его труды и доверять им или нет... К белорусской исторической науке прямо относятся слова М. С. Горбачева, сказанные им на январском (1987) Пленуме ЦК КПСС: «Из истории и обществоведения ушли живая

¹ Публикуя дискуссионное письмо белорусских исследователей, редакция надеется на дальнейший обмен мнениями о проблемах отечественной историографии, касающейся истории славянских народов и их взаимных отношений.

дискуссия и творческая мысль, а авторитарные оценки и суждения стали непререкаемыми истинами, подлежащими лишь комментированию» (Коммунист, 1987, № 3, с. 7).

Например, в статье докторов исторических наук З. Ю. Конысского и В. И. Мелешко «Фактам вопреки» («Советская Белоруссия», 28 июля 1987 г.) преимущественно говорится лишь о достижениях в области феодальной истории Белоруссии, дается перечень коллективных монографий и других работ, которые вышли или вскоре выйдут в отделе истории Белоруссии периода феодализма Института истории АН БССР. Приведенный перечень публикаций историков напоминает отчет о «валовой продукции», выпускаемой предприятием. Но в науке, как и в экономике, ставка только на «вал» вряд ли может быть оправданной, а проблема качества не решается «валом», т. е. экстенсивным подходом к исторической продукции.

Прежде всего обратим внимание на одно из актуальных явлений современной исторической науки — ее дифференциацию: история социально-экономическая, военная, история права, искусства, науки и т. д. Историки всего мира не могут даже объединить общую историю одной только культуры. Реальность разветвления истории явная. Но все же некоторая интеграция разных ее ответвлений необходима. В Белоруссии же это разветвление привело к тому, что историки Института истории АН БССР и кафедры истории БССР Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина изучают главным образом социально-экономическую историю. Изучение истории культуры Белоруссии отведено литературоведам, философам, искусствоведам, фольклористам, этнографам. При этом из поля зрения историков выпадает политическая история, военная история, история права и т. д. Например, из плановых исследований по истории Белоруссии XIII — середины XVI вв. исключаются разделы по политической истории Белоруссии и Великого княжества Литовского в целом. Обойден весьма важный вопрос о национальном характере этого государства и, таким образом, оставлен в стороне, в качестве «белого пятна», один из важнейших вопросов истории Белоруссии феодального периода. Естественно, что за рассмотрением главным образом историко-экономических вопросов легче уходить от ответа на историко-политические. Между тем в зарубежной буржуазной литературе именно этот вопрос, нередко в спекулятивных политических целях, поднимают как белорусские, так и литовские буржуазные историки.

Очевидны недостатки изучения исторического прошлого Белоруссии в Институте истории АН БССР, на кафедре истории БССР БГУ, и давно назрела необходимость в критическом анализе создавшегося положения.

Стремление уйти от изучения политической истории привело к отставанию в данном вопросе от развития науки в соседних братских республиках, от историков Польши. Но, к сожалению, отдельные влиятельные авторы пытаются изобразить дело так, будто никакого отставания нет. Более того, из упомянутой выше статьи Конысского и Мелешко прямо напрашивается вывод, будто все, написанное историками Белоруссии по феодальному периоду является зоной вне критики, т. е. исключением из общего правила. Но ведь сегодня вопрос ставится довольно четко: «закрытых» зон в наших общественных науках нет и быть не может (см.: Коммунист, 1987, № 8, с. 20).

Было бы неверно считать, что вся историческая наука, изучающая феодальную Белоруссию, шла в одном русле. Однако к основным работам по политической истории края этого периода все же следует предъявить серьезные претензии, связанные с падением уровня преподавания истории на гуманитарных факультетах, отходом от диалектического метода в сторону догматизма, как это случилось при издании учебника по истории БССР для вузов.

В чем же конкретные причины застоя в белорусской исторической науке, изучающей феодальный период?

Известно, что историк зависим. Зависим от общества, от переживаемой эпохи. Но также зависим от своего руководства, от своего окру-

жения. Историк вынужден считаться и с одним, и с другим. Но он обязан также защищать свою независимость. Защищается же он следующим образом: чем объективнее будет рассматривать события прошлого, тем больше доверия будет к его результатам.

Марксистская историческая школа имеет в этом смысле большие достижения, в том числе и потому, что вопреки чужой критике и «своим» вульгаризаторам дает более полную и глубокую интерпретацию истории.

Среди правил исследования в употреблении историка вошли: принцип использования разнородных свидетельств, в том числе и «противоположной стороны»; обязанность учитывать литературу на других языках; доступ к зарубежным архивам и изданиям; необходимость следить, чтобы его знания оставались знаниями всесторонними, а не препарированными. Под «препарированием» имеется в виду не откровенная фальсификация (поскольку в моральном отношении она вообще не подлежит обсуждению), а такой отбор фактов, который деформирует образ прошлого, известный из источников, или из «внеисточниковых знаний». Отбор фактов относится к сущности труда историка — это очень ответственный этап его работы. Поэтому сомнения порождает ситуация, когда из поля зрения историков исчезают целые комплексы проблем, когда из прошлого «отлавливаются» отдельные явления и, к тому же, им искусственно придается то значение, которого они никогда не имели.

К сожалению, в годы застоя нередко сковывалось стремление историка свободно, творчески мыслить, высказывать личное мнение, проявлять инициативу без окрика чиновника сверху. Вот еще одна причина застоя. Корни этого явления глубокие.

Следующая значительная причина — пренебрежению теорией. Когда в 20-е годы советская марксистская историческая наука рождалась, в ней успешно начали изучать теорию и методологию историографии и источниковедения. Потом, когда И. В. Сталин, утверждавший, что принципы важнее фактов, начал насаждать эмпирические и догматические стереотипы мышления, исследования в этой области были надолго приостановлены — они начали возрождаться только после XX съезда КПСС. За последние два десятилетия специалисты по проблемам теории и методики историографии и источниковедения издали интересные работы, собиравшись время от времени для обсуждения теоретических и методических проблем на всесоюзные конференции. Но ни на одной из источниковедческих конференций не было представителей белорусской исторической науки, как нет и их теоретических и методологических работ. Самое большее, что появляется под их фамилиями, — это публикации по конкретным вопросам историографии и источниковедения с перечислением отдельных источников исследования. К сожалению, историография часто сводится только к перечислению работ в рецензионном стиле с минимумом анализа, да к тому же часто с некритическим использованием рецензий, пятидесяти- и шестидесятилетней давности, со всеми их методологическими ошибками (см.: Копыцкий З. Ю., Чепко В. В. Историография БССР: Эпоха феодализма. Минск, 1986; Копыцкий З. Ю. Источниковедение аграрной истории Белоруссии. Минск, 1978; Михнюк З. И. Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии (1919—1941 гг.). Минск, 1985), или к старательному перечислению фамилий живущих историков (чтобы, не дай бог, кого не обидеть) с указанием по рангам, по проблемной специализации, тоже без всякого научного анализа (Иоффе Э. Г. Учебно-методическое пособие к курсу «Историография истории СССР». Минск, 1986). Эти работы, к сожалению, страдают недостатком проблемности, в них нет должной объективности в показе развития историографии.

Большинством наших историков, изучающих феодальный период, слабо используются достижения современной этнографии, что ведет к смешению религиозной и этнической принадлежности населения Белоруссии, в том числе к безоговорочному отождествлению ассимилировавшейся белорусской шляхты и магнатов с польскими. Редко учитываются также данные генеалогии.

Удивляет произвольный отбор в историографии Белоруссии периода феодализма трудов основателей научного коммунизма, имеющих прямое отношение к истории Белоруссии. Даже в хорошей в целом монографии М. И. Иосько «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Белоруссия», которая выдержала два издания (1977, 1985), не рассмотрены отдельные работы, существенные для понимания исторической судьбы Белоруссии. Особенно это относится к политической истории края XVIII—XIX вв., которую, к сожалению, многие историки Белоруссии упорно рассматривают без учета известных работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина по этой проблеме, но согласно концепции, выдвинутой И. В. Сталиным в его работе «О статье Энгельса „Внешняя политика русского царизма“» (К изучению истории. Сборник. М., 1946), в которой, по оценке авторов предисловия к 22-му тому второго издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, «имеет место нарушение принципа историзма. К оценке этой статьи Энгельса Сталин подошел с критерием, относящимся к международной ситуации более позднего времени, допустив смещение обстановки начала 90-х годов XIX в. (когда статья Ф. Энгельса была написана.— Авторы) с той, которая сложилась в эпоху империализма» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е. Т. 22, с. XXXIII). При Сталине в среде историков все внешнеполитические акции царизма оправдывались с государственно-централистской точки зрения, популяризовались любые действия не только Ивана IV, но и его преемников.

В связи с этим следует отметить как порочное и одностороннее освещение тех или иных явлений, которое вело к искажению исторического процесса. Сама по себе «односторонность» освещения в виде концентрации исследовательского внимания на определенной тематике еще не опасна — наоборот она дает возможность глубже показать те или иные явления. Но когда ее используют избирательно, это ведет к преувеличению одних явлений, к недооценке или замалчиванию других. Так, у нас довольно хорошо изучена роль католической церкви в Белоруссии в XVI—XVII вв. Но не повезло униатской и православной церквям, что создает «перекос» в истории религии. Брестская церковная уния 1596 г. освещается в белорусской историографии изолированно от истории унии католической и православной церквей, начиная с Флорентийской церковной унии 1439 г., а Лионская церковная уния 1274 г. даже не упоминается. Пасаждение Брестской унии освещается гораздо подробнее, чем ее ликвидация в 1839 г., о чем вообще почти не пишется. А о роли в ликвидации церковной унии Иосифа Семашко обычно пишут, не учитывая того, что он уничтожил многие памятники на белорусском языке (на этом языке почти совсем не было католической и совсем не было православной религиозной литературы). Не учитывается и отрицательная оценка действий Иосифа Семашко, данная А. И. Герценом, который называл его «во Иуде предателем, палачом» (Герцен А. И. Секущее православие. Собр. соч. Т. 13. М., 1958, с. 390).

Произвольный отбор фактов и событий привел к тому, что в трех учебных пособиях для студентов исторических факультетов (а именно учебные пособия формируют самосознание будущих историков) исчезли многие названия работ польскоязычных историков — даже тех, кто родился и работал в Белоруссии. И если в двух из них (Историческое краеведение Белоруссии. Минск, 1980, с. 6—17; Пилипенко М. Ф. Этнография Белорусии. Минск, 1981, с. 13—46) упоминаются хотя имена таких исследователей, то в третьем пособии (Историография БССР. Эпоха феодализма. Минск, 1986) начисто отсутствуют и имена таких исследователей, и их работы. Нет в этой книге упоминания о таких работах, как: Шчарбакоў В. Сялянскі рух і казацтва на Беларусі ў эпоху феодалізма (Мінск, 1935); Лочмель И. Ф. Очерк истории борьбы белорусского народа против польских панов (М., 1940). А ведь эти издания во многом определили изложение истории Белоруссии XVI—XVIII вв. в последующих обобщающих трудах (История Белорусской ССР. Т. I. 1954 и 1961 гг.) и многих других работах. Можно было бы объяснить (но не понять) игнорирование польскоязычной литературы белорусскими ис-

ториками в 30-е годы, когда политические отношения между СССР и польским буржуазным государством были чуждыми. Но никак нельзя понять такое замалчивание во времена, когда Польша стала социалистической страной.

Проявлением типичного национального нигилизма является игнорирование истории дворянства (шляхетства) в Белоруссии в то время, когда русские советские и современные польские историки (М. Бычкова, Я. Тазбир и многие другие) глубоко исследуют эту проблему применительно к истории России и Польши. Можно объяснить (но не понять) обстоятельными тридцатых годов приписывание в белорусской историографии белорусскому дворянству (по аналогии с Украиной) принадлежности к сословию «польских панов», но нельзя это понять после создания Польской Народной Республики. Между тем указанный тезис упорно повторяется во многих работах белорусских историков, перенимается от них журналистами. Не нужно особых исследований, чтобы доказать несостоятельность этого тезиса. Статуты Великого княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг. (а последний действовал до XIX в.) запрещали предоставление земель, участков, должностей некоренным феодалам, в том числе и польским — это право имела только белорусская и литовская шляхта, местные уроженцы. Поэтому в Белоруссию и Литву наплыва польской шляхты никогда не было — в отличие от Украины, которая в 1569 г., перед заключением Люблинской унии, была включена в состав королевства Польского. Вот почему вся эта так называемая польская шляхта в Белоруссии и Литве на самом деле являлась местной шляхтой, только во многом усвоившей польскую культуру.

Никак нельзя понять отсутствие в белорусской историографии работ о дворянской (шляхетской) революционности в крае, о восстании 1794 г., которыми руководили поочередно два уроженца Белоруссии — Т. Костюшко и Т. Вавжецкий, о восстании 1831 г. Удивляет умолчание в пятитомной «Гісторыі Беларускай ССР» «экспедиции» Михаила Воловича — первой попытки соединить шляхетское и крестьянское революционное движение не только в Белоруссии, но и, пожалуй, в Российской империи вообще.

Или такой необъяснимый факт. Почему в совместных планах издания «Литовской метрики» — документов канцелярии великих князей литовских, богатейшего свода источников по истории Литвы, Белоруссии и Украины, — принимают участие историки Польши, Литвы, Москвы, но только не Белоруссии? И уж совсем непонятно, почему до сих пор нет Археографической комиссии при АН БССР, на создании которой так горячо настаивал видный советский историк и археограф Н. Н. Улащик.

В то время, как в белорусском литературоведении вульгарный социологизм подвергся обоснованной критике (хотя, понятно, преодолен он еще далеко не до конца), это, к сожалению, еще не произошло в нашей исторической науке. Печальной памяти книга В. К. Щербакова «Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі», многочислешные оценки которой надолго стали эталонами для белорусской историографии, за полвека так и не дождалась обстоятельного критического разбора.

Необходимо также объективно изучить консервативные, ретроградные течения и работы историков этого направления в развитии историографии Белоруссии. К сожалению, до сих пор к ним относятся по принципу: «С врагом не дискутируют, врага бьют». Критика буржуазных противников, которую авторы статьи «Вопреки фактам» ставят в заслугу своим старшим коллегам, фактически сводилась к ругательному стилю с эпитетами «лживый», «клеветнический», «злонамеренная ложь», «беспочвенные выдумки», «грязные попытки» и т. д. (см.: Абецэдарскі Л. У святле неабвержных фактаў. Мінск, 1969, с. 4—7 и др.). Аргументированных работ в этой области мало, а рецидивы такого подхода приходится встречать в прессе Белоруссии даже в наши дни.

Антиисторизм проявляется также в поверхностности оценок, схематизме, анахроничном, впекассовом проецировании сегодняшних явле-

ний на явления прошлого. Это может отрицательно влиять на интернационалистическое воспитание. Например, естественное стремление белорусов к сотрудничеству с братским русским народом в социалистическую эпоху порою искусственно проецируется на предыдущие периоды истории, не понимая, что это отражает, по существу, неославистические взгляды дворянских и буржуазных историков (об этих взглядах см.: Дьяков В. А. Славянская идея в России периода империализма.— Вопросы истории, 1987, № 3, с. 28—41). Дело доходит до курьезов. В разделе «Массовый уход населения Белоруссии в Россию» из книги А. П. Игнатенко «Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией (вторая половина XVII—XVIII вв.)» (Минск, 1974, с. 57—71) автор привел 14 случаев этого ухода в первой половине XVIII в. для доказательства своего тезиса. Однако при внимательном чтении выдержек из документов, которые он приводит, становится ясно, что из 14 только четыре примера подкрепляют тезис автора, ибо остальные десять примеров относятся не к уходу в Россию, а просто к уходу из определенной местности в неизвестном направлении (подробнее об этом см.: Грицкевич В. П. Массовая миграция русских в Литву и Белоруссию в первой половине XVIII века как форма классовой борьбы против усиления крепостнического гнета (по опубликованным русским источникам). Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР. Т. XXIV. Вильнюс, 1984, с. 70, прим. 3). Каждому понятно, что такое отношение к источникам может принести только вред. Еще один пример. Без источниковедческого анализа, как подлинный источник белорусского фольклора XVII в. часто приводится песня «Ой калі б, калі» (История БССР. Под ред. В. В. Чепко, А. П. Игнатенко. Минск, 1981, ч. I, с. 153; Пятровіч С. А., Багдановіч Б. К. Капыль (гістарычны нарыс). Мінск, 1974, с. 19), в то время как Н. Янчук и Е. Карский убедительно доказали, что указанное стихотворение было сфабриковано в верноподданнических кругах в середине XIX в. (Янчук Н. О мнимонародных песнях исторического и мифологического содержания.— Пошана. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 18. Харьков, 1909, с. 286—306; Карский Е. Белорусы. Т. 3, ч. 3. Пг., 1922, с. 28—34).

Приходится с сожалением констатировать, что белорусская советская историография значительно отстает от уровня общесоюзной, русской советской историографии. Она обходит острые вопросы, которые в русской историографии уже рассматриваются. Такие, например, как история шляхты, шляхетской революционности как определенного этапа революционности. Не рассматривает административную структуру и государственный строй Великого княжества Литовского в XIV—XVI и в XVI—XVIII вв. Не рассмотрено положение шляхты в XVI—XVIII вв., без чего нельзя рассмотреть этап революционности в конце XVIII—XIX вв. (защита своих прав, своего личного достоинства, чего не было у великорусских «поколений сеченых дворян», по Герцену). Почти не нашли своего места в исследованиях промежуточные группы населения.

Многие ошибки в работах ряда белорусских историков вызваны тем обстоятельством, что эти историки рассматривают события в Белоруссии феодального периода исключительно с точки зрения истории России. Из-за этого взгляда оправдываются все или почти все действия царских властей на территории Белоруссии того времени, православие и борьба за него объявляются только прогрессивными, а все, связанное с католицизмом и церковной унией, реакционным, антинародным и антинациональным. Таким образом, неосознанно или осознанно повторяются пропандистские тезисы царской администрации, особенно широко распространенные после восстания 1863 г., об «интригах польских панов» и католической церкви и об извечной приверженности белорусского населения исключительно к «родной» православной церкви. Эта тенденция, особенно усилившаяся в белорусской историографии в 30—50-х годах, к сожалению, не преодолена до сих пор.

Главная задача, стоящая перед белорусскими историками, занимающимися периодом феодализма,— ликвидировать «белые пятна» в исто-

риографии Белоруссии, отказаться от устаревших и неверных схем и мифов, созданных в 30—50-х годах и культивируемых многими историками и поныне, честно и беспристрастно, с партийных позиций, во всеоружии достижений советской исторической науки, проводить научные исследования по истории белорусского народа. Хорошим уроком здесь звучат слова А. Н. Яковлева: «Суровая, но правда в любом случае лучше, чем ласкающие умолчания, фантазии или эмоции. Очернить историю можно только ложью, правда ее возвышает» (Правда, 1987, 4 ноября).

Данное письмо нам хотелось бы направить в белорусский славистический или исторический журнал. Но, увы, таковых нет. Разговоры о них тянутся десятилетия... Поэтому и пришлось нам писать в «Советское славяноведение».

А. П. Грицкевич, д-р ист. наук, профессор (Минск)

В. П. Грицкевич, действительный член Географического общества СССР (Ленинград),

А. И. Мальдис, д-р филол. наук (Минск).



ЛИПАТОВ А. В.

К 100-ЛЕТИЮ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕСТВА ИМ. А. МИЦКЕВИЧА

В 1986 г. исполнилось 100 лет со дня основания Литературного Общества им. А. Мицкевича и 20 лет — издаваемому им «Ежегоднику» [1].

Заслуги Общества в развитии национальной словесности и популяризации польской литературы и языка огромны. На протяжении века в сложные, порой трагичные времена (деятельность Общества не прерывалась и во времена фашистской оккупации) эта организация стремилась служить высоким и гуманным идеалам в духе своего великого патрона. Утверждаемые и распространяемые Обществом ценности национальной культуры осмысливались не в изоляции или противопоставлении свершениям других народов, а как органичная составная часть общечеловеческих, гуманистических и демократичных устремлений. В этом отношении показательно и то, что во главе Общества стояли такие ученые, как Ю. Клейнер (1934—1939), Ю. Кжижановский (1946—1976), М. Климович (1976—1983). С 1983 г. этот пост занимает проф. З. Либера, который за свою многолетнюю деятельность в Варшавском университете подготовил не одно поколение специалистов. Среди его учеников и слависты целого ряда стран, в том числе и СССР. И тут следует сказать и о третьем юбилее — 70-летию профессора З. Либера, известного исследователя литературы XVIII, XIX и XX вв., а особенно эпохи Просвещения [2]. Поэтому польская научная общественность, посвящая З. Либере юбилейное издание «Ежегодника», именно эту эпоху выбрала в качестве связующей разные исследования темы.

В работе известного теоретика и историка литературы Т. Косткевичевой (о ней см. [3]) «Профессор Либера — исследователь эпохи Просвещения» анализируются труды З. Либера из области истории и социологии литературы, литературной жизни и компаративистики, культурологии, стилистики, генологии; выделены три основные черты исследовательской манеры ученого: 1) «целостное восприятие эпохи как интеллектуального движения, его проявлений в философии, науке, образовании, общественной и эстетической мысли, искусстве и даже в обычаях»; 2) «параллельное отображение процессов, происходящих в духовной жизни Европы и Польши»; 3) «необыкновенная широта познавательной перспективы... не только с научной, но и прежде всего воспитательной точки зрения» [1, s. 7]. З. Рейман и Я. Зентарская составили «Библиографию работ З. Либера» s. 13—31], охватывающую период с 1939 по 1982 гг.

Видный литературовед и критик Я. Мачеевский в статье «Универсальность и своеобразие польского Просвещения» стремится к комплексному освещению политических, социальных, философских, экономических, общекультурных и эстетических явлений, обусловивших облик эпохи, которая трактуется им как особая культурная формация. Подход Я. Мачеевского в ряде моментов подобен тем путям, которые привели к возникновению концепции «стилевой формации» в югославской науке [4] и Просвещения

как историко-культурной формации у нас [5]. Отсюда и подобие некоторых общих выводов, сближающих разных ученых, которые идут независимо друг от друга к решению определенной задачи. Это относится, например, к констатации внутренней разнородности (философской, идеологической, эстетической) Просвещения, выявлению отнюдь не однозначной (как полагали ранее) роли церкви (так называемое «христианское Просвещение») (ср. [5, с. 48—50, 59—65]), конкретизации международного значения отдельных культурных центров (Я. Мачеевский выделяет только Париж, что сужает общую и более сложную картину) (см. [5, с. 27—36]), рассмотрению национальных процессов как части общеевропейского целого. Такой подход способствует рассмотрению эпохи как системного единства и более глубокому пониманию общих закономерностей — с одной стороны, и национальной специфики их проявления — с другой. Так, в искусстве польского Просвещения наряду с преобладающим классицизмом продолжало существовать барокко, а параллельно — сентиментализм, рококо, предромантизм. В польской литературе (как и в других литературах эпохи Просвещения) сатира стала одним из ведущих жанров, однако роман не сыграл здесь «такой роли, как в Англии и Франции, но подготовил будущую карьеру этого жанра» [4, с. 38]. «Век разума» в Польше, так же как и в других странах Европы отличается развитием журналистики, отражающей знаменательные для эпохи общественно-политические и нравственные проблемы. С середины 70-х годов польское просветительское движение обретает новый характер: «оно утрачивает элитарность, наступает его радикализация и демократизация» [4, с. 47]. Это способствует оживлению литературы, театра, искусства, науки. В заключительной фазе Просвещения (после утраты государственности) главной проблемой становится вопрос о путях обретения независимости и забота о сохранении национальной культуры в новых исторических условиях.

Необходимость конкретно-исторического подхода к литературе вместо оперирования «готовыми» социально-политическими схемами, которые, будучи «накладываемыми» на литературное произведение, не столько разъясняют, сколько искажают его суть, демонстрирует остро полемическая статья Ю. В. Гомулицкого «Басня о двух колосьях». Так называлась басня, приписывавшаяся Я. Ясиньскому — поэту, вольнодумцу и герою времен Костюшка. Автор монографии о Ясиньском Ю. Келера в анализе этой басни исходил из идейной позиции поэта и из общей картины идеологической борьбы того времени. В результате басня интерпретировалась как творение общественно-политическое, оригинальное и отражающее радикальные воззрения конкретного автора, тем самым вообще снималась проблема атрибуции текста, проверки не всегда надежных свидетельств авторской принадлежности. Ю. В. Гомулицкий, анализируя «Два колоса» текстологически, в аспекте сравнительного литературоведения и с точки зрения конкретно-исторической интерпретации, одновременно ведет методологическую полемику с «дилетантизмом» и «псевдонаучностью» [4, с. 56]. Обращаясь к рукописному источнику, Ю. В. Гомулицкий отмечает искажения опубликованного варианта, а исходя из художественной образности текста, показывает его сугубо морализаторский (в духе эпохи) смысл, лишенный идеологической однозначности и адресованный всем сословиям. Анализируя фабулу басни, исследователь относит ее к достаточно распространенным мотивам, известным польской и западноевропейским литературам XVII—XIX вв., что снимает вопрос о ее «оригинальности». По поводу авторства басни после ознакомления с рукописными и издательскими материалами de visu Ю. В. Гомулицкий пришел к выводу, что «Два колоса» написал не вольнодумец и поэт Я. Ясиньский, а известный гуляка и дилетант Я. Н. Вылежиньский.

Работа Ю. В. Гомулицкого, демонстрирующая не только эрудицию автора, его широкий филологический кругозор, но и высокую культуру научной полемики, зримо показывает необходимость профессионального, конкретно-исторического подхода к литературе, равно как и правомерность использования методов филологической науки вместо априорного оперирования готовыми общественно-идеологическими схемами.

Статья Т. Наумовича посвящена сопоставлению характерных особенностей немецкой и польской литературы эпохи Просвещения, проводимому в русле следующих проблем: «просветители и проблемы религии», «просветители и проблемы общества», «просветители и отношение к природе», «просветители и искусство, литература». Эти проблемы, соответственно немецкого и польского типологических рядов, отражают фундаментальные положения философской антропологии XVIII в. Анализируя особенности этих проблем в Германии и Польше времен Просвещения, предопределенные особенностями национальной общественно-политической истории, автор приходит к обобщающему выводу о том, что при несомненном единстве просветительского движения в Европе, оно имело и весьма существенные различия. Это препятствует возможности определения Просвещения в Европе при помощи только одной формулы, что, однако, по-прежнему практикуется [1, с. 74]¹.

Эта статья может рассматриваться и как своего рода ценное «восполнение» фундаментальных выводов Я. Мачеевского, который, сосредотачивая внимание на «французской модели», не учитывает наличие «модели английской» — более ранней и существенно воздействующей на французскую (см. [5, с. 27—28]), а также немецкой (оказавшей большое влияние на славянские литературы и культуры, включая польскую) [5, с. 29—30, 35—36, 127—128] или, например, русской, сыгравшей особенно важную роль в славянских культурах православного круга, а также в литературах Чехии и Словакии времен национального возрождения [5, с. 29—34].

Работа Я. Сляского «Из истории „Сатира“ Кохановского в Просвещении» расширяет существующие представления о функционировании национальной ренессансной литературы в Польше 2-й половины XVIII в. Одновременно отмечается воздействие крупнейшего поэта польского Возрождения на литературы восточнославянского и хорватского Просвещения.

Слава Ж. П. де Флориана, писателя и академика, далеко перешагнула границы Франции. Он пользовался известностью и в России, где его начали переводить в конце XVIII в. В Польше переводы его произведений появляются уже с 1785 г., оказав влияние на польский сентиментализм, рококо и предромантизм. Однако эти проблемы почти не разработаны исследователями, и тем большего внимания заслуживает статья А. Александрович «О рецепции Флориана в Польше». Автор рассматривает перевод комедии «Хороший отец», ставший дебютом М. Чарторьской-Виртембергской — талантливой представительницы польского предромантизма. Характер перевода, специфические изменения, введенные писательницей, отражали, с одной стороны, направленность литературных интересов польского Просвещения, а с другой — концепции художественного перевода (в частности, А. К. Чарторьского — отца переводчицы), особенности польской культуры и польских литературных вкусов 80-х годов XVIII в. — начальных десятилетий XIX в.

О наличии в Польше 70—80-х годов XVIII в. интереса к тому течению в английской поэзии второй половины XVII — начала XVIII в., которое, проповедуя гармоничный образ жизни на лоне природы, в то же время не противопоставляло его урбанистической культуре того времени, пишет известная исследовательница польско-английских связей Э. Синко (см. [6, с. 5—6, 12—14, 67, 71—72]) («Английский „философ“ и его образец счастливой жизни»). Как отмечает автор, польское обращение к таким английским мотивам было обусловлено близостью польской классицистической литературы XVIII в. отечественной традиции XVI—XVII вв., где выступала подобная тенденция.

Глубокие просветительские преобразования второй половины XVIII в. охватили все стороны национального бытия — от политической системы, социальной структуры, облика культуры до внутреннего мира личности, взаимообуславливающего (в силу действия обратной связи) новый тип общественной ментальности. Заключительный этап² эпохи — это своего ро-

¹ К подобному выводу на общеевропейском материале пришел и автор данного обзора. Опыт позитивного решения проблемы предложен в [5].

² В его датировке нет единства мнений (см. [7; 8]).

да «жатва» просветительских «посевов» XVIII в., когда выявились все «плюсы» и «минусы», обусловленные соответственно прозорливостью и исторически (объективно и субъективно) неизбежными просчетами польских реформаторов — с одной стороны, и общеевропейским кризисом ряда просветительских идей — с другой. В этом отношении особый интерес для историков, литературоведов, культурологов и социологов представляет исследование Б. Грохульской «О некоторых аспектах конфликта Костела с правительством Княжества Варшавского»³. Глубокий анализ официальной переписки польских духовных и светских властей помогает исследовательнице объективно показать, как и почему разошлись пути «католического Просвещения» и «Просвещения светского»: «Основой этого конфликта является проблема нового соотношения сил..., нового способа осуществления власти и соучастия в ней. Однако фоном был более глубокий кризис, связанный с упадком религиозности общества — с одной стороны, и с крахом просветительской концепции социальной гармонии — с другой» [1, с. 115].

Польша, начиная по крайней мере с эпохи Возрождения, привлекала внимание мыслителей Запада не только как одна из территориально крупнейших стран Европы, но и как государство со специфическим сочетанием сословно-республиканского и монархического начал, которое обуславливало более высокий уровень толерантности (что отмечал, например, Эразм Роттердамский). Польша эпохи Просвещения своей устремленностью к преобразованиям (включая и революционные идеи и методы борьбы) привлекала внимание не только великих современников (Монтескье, Вольтер, Дидро, Руссо и др.), но и мыслителей XIX в. (в этом отношении показателен, например, известный интерес Маркса и Энгельса к польской истории). Под таким углом зрения европейские (и не только европейские, если учесть характер связей Речи Посполитой с Турцией и Персией) литературы содержат значительный и до сих пор мало исследованный материал. Поэтому особого внимания заслуживает работа Э. Жадковской «Польша и две ее столицы во французских энциклопедиях», где рассмотрены материалы 1674—1765 гг., свидетельствующие об изменении восприятия Польши вместе с изменениями исторических эпох.

Станислав Август Понятовский как личность, политик, деятель культуры и меценат до сих пор вызывает живейший интерес и горячие споры (см., например, [9]). А. Загорский в статье «Станислав Август в польской драматургии» рассматривает различные художественные трактовки образа последнего короля Речи Посполитой.

Огромны заслуги для польской культуры Ю. М. Оссолиньского, историка литературы, переводчика, создателя публичной библиотеки, до сих пор существующей как важный научно-издательский центр ПНР. Учитель Оссолиньского был известный поэт, выдающийся историк и переводчик эпохи Просвещения А. Нарушевич. Характеру их контактов и отношению к научным концепциям своего времени посвящена статья Е. Снопка «Ученик и мэтр».

Работа И. Лоссовской «Копчинский или Краевский?» нацелена на выяснение авторства стихотворения, опубликованного в известном патристическом издании («Газета Народова и Обда»).

М. Трошинский (статья «На пути к современным критериям равенства») исследует философскую работу О. Маркевича (1806), отражающую те интеллектуальные поиски Просвещения, которые открывают пути общественным знаниям позднейших времен.

В целом исследования, составившие «Ежегодник», в значительной степени отражают основные направления и характер разработки просвети-

³ Статья Б. Грохульской подтверждает на материалах общественно-политической жизни мои суждения (основанные прежде всего на материалах литературоведческих) о конце XVIII — первых трех десятилетиях XIX в. как заключительном этапе Просвещения. Предложенная в указанной выше статье периодизация легла в основу работы «Литературный облик польского Просвещения» (в [5]) и польского раздела в 5 т. «История всемирной литературы».

тельской проблематики польскими учеными в последние годы, что представляет определенный интерес также и для советских славистов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. Warszawa — Łódź, 1985.
2. *Липатов А. В.* Проблемы литературы и культуры польского Просвещения.— Советское славяноведение, 1974, № 4.
3. *Липатов А. В.* Просвещение — Романтизм.— Советское славяноведение, 1976, № 4, с. 108—109, 111, 112.
4. *Флакер А.* Стиливая формация.— В кн.: Действительность и искусство. Литературно-художественная критика в СФРЮ. М., 1980.
5. Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1982.
6. *Липатов А. В.* Возникновение польского просветительского романа. М., 1974, с. 5—6, 12—14, 67, 71—72.
7. *Липатов А. В.* Проблемы периодизации литературы польского Просвещения.— Советское славяноведение, 1971, № 3.
8. *Липатов А. В.* Периодизация литературы польского Просвещения.— Советское славяноведение, 1972, № 6.
9. *Wiek Oświecenia*. T. 2. Warszawa, 1978.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

GOATI V. *SKJ, kriza, demokratija*. Zagreb. 1986, 161 s.

ГОАТИ В. *СКЮ, кризис, демократия*.

В серии «Библиотека современной политической мысли» вышла новая книга известного югославского политолога Владимира Гоати «СКЮ, кризис, демократия», вызвавшая широкий отклик в научных и общественных кругах Югославии (см. дискуссию, организованную журналом «*Naše teme*», 1987, № 6—7).

Как отмечает большинство критиков, книга представляет собой наиболее целостное исследование о противоречиях и трудностях политического авангарда, его ответственности за происходящие в обществе процессы, и предпосылках выхода из создавшейся ситуации.

В главе, посвященной кризису, охватываемому югославское общество, Гоати не ставит перед собой цель раскрыть причины сложившейся ситуации, а стремится, прежде всего, показать масштабы, формы проявления кризиса в разных сферах.

Автор указывает на то, что экономика — лишь эпицентр кризиса, тогда как его действительная сердцевина кроется в сфере политики. Один из «кризисных» источников, по мнению исследователя, состоит в дилемме между классовым и национальным принципами, поскольку в прошедший период необходимый баланс между ними был нарушен и главенствовать стал национальный принцип, подчас искаженно толкуемый некоторыми сепаратистски настроенными авторами.

Оценивая сложившуюся ситуацию (автаркические тенденции в сфере экономики, снижение темпов роста общественного продукта, увеличивающаяся внешняя задолженность, запаздывание с принятием важных решений органами федерации и «блокада» принятых решений, а также недостаточное развитие сотрудничества республик), Гоати пишет, что «кризис обнаружил период слабости общества, однако это и время перемен» (с. 18).

При выработке единой стратегии выхода из кризиса, подчеркивается далее, в жертву не должны быть принесены такие важные завоевания югославского общества, как достигнутый уровень социалистической демократии и социального равенства.

Переходя к роли СКЮ в разрешении назревших проблем, Гоати отмечает, что до сих пор обычно говорили о влиянии общественного кризиса на СКЮ, как будто кризис разразился независимо от действий самого СКЮ. Такой подход, по его мнению, неоправдан.

Особое значение имеет поднятый в книге вопрос о соотношении «плюрализма интересов» в социалистическом обществе и партийного руководства. Гоати обращает внимание читателя на тот факт, что в социалистических странах долгое время существовало ошибочное убеждение в полной гармонии интересов при социализме (отсутствии в них носителей отличных от общественных интересов). Все факты, противоречащие данному мнению, объяснялись как пережитки прошлого или результат подрывного действия внешних сил.

Реальные события показали, что это не так. «В социалистических обществах существуют частные интересы, являющиеся закономерным продуктом социалистического развития», — пишет Гоати (с. 33). Признание этого факта, продолжает далее свою мысль автор, заставляет задуматься над механизмом регулирования возможности конфликта интересов. При этом критерием успешной деятельности СКЮ является интеграция частных интересов на соответствующей рабоче-классовой основе. Для достижения этой цели необходимо, прежде всего, идейное единство в рядах СКЮ, поскольку конфликты интересов, возникающие в СКЮ, несут с собой значительные последствия, ибо влияют на конфликты интересов в обществе.

Подробно Гоати рассматривает проблему «групповых интересов», выразители которых стремятся оказать давление на власть. Эта проблема слабо разработана в политической науке.

Много внимания в книге отведено исследованию проблемы демократизации и демократии, активизации политической жизни всего общества, роли СКЮ в этом процессе.

Критически рассматриваются некоторые вопросы партийного руководства, подконтрольности его рядовым членам партии. По мнению Гоати, можно говорить о возникновении в Югославии своеобразной «элиты власти, которая без особых трудностей переходит из государственного аппарата в руководство общественно-политических организаций, сферу экономики и наоборот» (с. 59). В результате, отмечает автор, происходит несправедливый рост чиновничьеского аппарата в экономике, общественно-политических объединениях и организациях, тормозящего своевременное решение назревших проблем. Усложняют обстановку карьеристски настроенные элементы, стремящиеся стать членами СКЮ, преследуя исключительно свои узкие эгоистические интересы. С другой стороны, расхождение между словом и делом приводит к разочарованию, пассивности части коммунистов, вплоть до выхода из СКЮ отдельных членов (с. 60).

Говоря о важности развития внутрипартийной демократии в СКЮ, Гоати

подчеркивает взаимозависимость этой проблемы с уровнем демократических отношений во всех других общественных институтах, с необходимостью дальнейшего развития и совершенствования самоуправления в обществе. Важно при этом правильно использовать демократический централизм, не допускать гипертрофирования этого принципа, поскольку, по мнению автора, он может обеспечить оптимальные условия для развития внутренней партийной демократии, но может служить и на руку партийной олигархии — все зависит от соотношения сил в партии.

Отдельный параграф посвящен проблемам совершенствования политической системы, призванной, по мнению автора, более оптимально учитывать потребности и интересы членов общества. «История социалистических стран и коммунистических партий, — пишет Гоати, — указывает на то, что необходимо реалистически подойти к анализу истинных... мотивов участия в политической и общественной жизни. Без этого научный анализ безнадежно скользит по поверхности и оказывается не в состоянии выявить и объяснить политические процессы и события» (с. 104).

Книга Гоати, на наш взгляд, представляет собой несомненный интерес для понимания проблем современного югославского общества.

Калоса Е. Б.

В. И. ШЕРЕМЕТ. Османская империя и Западная Европа. Вторая треть XIX в. М., 1986, 310 с.

Без учета истории Османской империи, ее отношений с европейскими державами невозможно серьезное изучение прошлого южнославянских и балканских народов, их национально-освободительной борьбы, создания новых самостоятельных государств, особенностей международных отношений в Юго-Восточной Европе. Поэтому для историков-балканистов большой интерес представляет вышедшая в свет новая монография В. И. Шеремета, в которой рассматриваются отношения Османской империи и западноевропейских держав в период от начала 1830-х годов до окончания Крымской войны. Автор анализирует социально-экономические сдвиги в Османской империи в указанный период, основные тенденции в развитии

внешней торговли, а затем показывает политическую роль этого государства в европейских событиях, его подготовку к Крымской войне. В заключительной главе книги рассматривается деятельность турецкой дипломатии при подготовке и заключении Парижского мира 1856 г.

Автор проследил, как на протяжении 1830—1850-х годов шло вовлечение отсталой военно-феодальной империи османов в общеевропейскую капиталистическую систему в качестве «периферийной зоны» и в связи с этим старания некоторых западноевропейских государств модернизировать Турцию, прежде всего в военной и финансовой сферах. Он ставил также задачей выявить истори-

ческие корни политики ведущих капиталистических держав на Балканах и Ближнем Востоке и их борьбу совместно с османскими правящими кругами против национально-освободительных движений покоренных народов, а одновременно и против России, которая нередко поддерживала эти движения. Автору удалось показать причины и последствия переориентации османских правящих кругов от союза с Россией (Ункяр-Искелевский договор 1833 г.) на союз с западными державами, что впервые привело к участию Османской империи в направленной против России военно-политическом альянсе в Крымской войне.

В советской историографии немало трудов, касающихся различных аспектов истории Турции XIX в., в частности в период танзимата, не обойден вниманием и процесс нарастающей противоречий между Россией и западными державами на Балканах и Ближнем Востоке, приведший к Крымской войне. Однако В. И. Шеремет исследует проблемы взаимоотношений Османской империи и западных держав в новом ракурсе, применяя, по его словам, «системный анализ». Его целью было показать, с одной стороны, развитие и функционирование международных отношений на Ближнем Востоке в эпоху победы промышленного капитализма, а с другой — взаимосвязь между этими отношениями и общим экономическим и политическим развитием Османской империи (с. 6).

Автор опирался в своей работе на достоверные и разнообразные исторические материалы. Это, прежде всего, неопубликованные и большей частью не использованные ранее документы советских архивов, торговая статистика Англии и Франции, пресса разных стран, парламентские издания, мемуары политических деятелей, дипломатов и военных, бывавших в Турции.

Приводимые в книге статистические данные из архивных и опубликованных источников позволяют конкретно представить особенности экономики Турции, ее внешнеторговых связей. Так, выясняется, что в 50-х годах главные военно-политические партнеры Османской империи господствовали на ее рынке, одновременно соперничая между собой. По этому вооруженные акции Франции на Ближнем Востоке в 40-е годы, ее инициативная роль в Крымской войне явились, по существу, способом защиты интересов французской торговли от английской и австрийской конкуренции, от

ограничительных попыток самой Порты. В начале 50-х годов на долю Франции и Австрии приходилось 20% всего товарооборота Османской империи. Но Великобритания в этом отношении обогнала своих партнеров, Россию же она превосходила в шесть раз (с. 84). Эти данные о слабости русско-турецких экономических контактов помогают понять причины неуклонного падения влияния царизма на Порту во второй трети XIX в. Не было случайным, что державы, господствовавшие на турецком рынке, смогли в 1854 г. стать военными союзниками Порты, связав ее военно-политическим договором, соглашениями о займах и концессиях на строительство путей сообщения. Крымская война устранила последние препятствия для проникновения во владения Османской империи иностранного капитала, преимущественно английского и французского, а также американского. Наметились и новые формы внедрения капиталистических держав в экономику империи под предлогом военной помощи (с. 208).

В первый период турецкого реформационного движения (танзимата) были выдвинуты, хотя и ограниченные, меры защиты национального производства от иностранной конкуренции. Крымская война сорвала этот процесс. В результате ее был установлен контроль над экономикой Турции представителей стран-владельцев. Ремесло и мануфактуры империи были не в состоянии выдержать конкуренции с захлестывающим потоком европейских промышленных товаров. Были сорваны и попытки Порты уничтожить капитуляционный режим. Ее западные союзники получили возможность усовершенствовать этот неполноправный институт.

Таким образом, как показывает Шеремет, вовлечение Османской империи в мировой капиталистический рынок происходило при сочетании экономических и внешнеэкономических контактов с западными державами, таких как военно-политический союз, обновленный капитуляционный режим, вмешательство извне в реформационный процесс, стремление держав подавить любое общественное движение, следствием которого могло быть возрождение национальных государств, в частности на Балканах.

Односторонняя ориентация Порты на западные державы, по мнению Шеремета, не способствовала утверждению ее авторитета на международной арене. Вместе с тем на Парижском конгрессе 1856 г.

впервые была представлена держава Востока, интересы которой приходилось принимать во внимание (с. 259). Таким образом, состоялось официальное принятие Турции в «концерт европейских держав», хотя, как считает автор, это произошло двумя десятилетиями ранее (с. 262—263).

Полагаю, что есть основания поставить вопрос иначе. Фактически с начала возникновения в европейской политике Восточного вопроса, т. е. с последней трети XVIII в., Османская империя, не желая того, втягивалась в общевропейскую международную систему. Это было неизбежно, ибо как владелица большей части Балканского полуострова она являлась отчасти и европейской державой. Но Порта считала для себя более выгодным изоляционистский курс. Так, она отказалась присоединиться к «концерту» европейских держав во время Венского конгресса 1814—1815 гг. и придержива-

лась такого принципа вплоть до Крымской войны.

Историку-балканисту хотелось бы найти в рецензируемой книге больше материалов, непосредственно касающихся земель Юго-Восточной Европы, входивших в состав Османской империи, особенностей их социально-экономического развития по сравнению с другими частями государства, расположенного на трех материках. Эта тема заслуживает специального исследования.

Можно было бы также пожелать автору не увлекаться усложненной системой изложения, перенасыщенной специальной терминологией, что иногда затрудняет чтение.

Осложняет пользование книгой отсутствие указателей — географического, именного и предметного.

Книга В. И. Шеремета является полезным вкладом в советскую османистику.

Достян И. С.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В ОЛОМОУЦКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Одно из новых явлений в литературоведческой науке последних десятилетий — небывалое развитие зарубежной русистики. Неизмеримо возросло число специалистов по русской литературе за пределами нашей страны. В социалистических странах широко развернута не только преподавательская, но и исследовательская работа по русской литературе, литературам народов Советского Союза, получающая выход в научных и литературно-критических журналах, сборниках, книжных курсах истории литературы, в монографиях и статьях, посвященных тем или иным явлениям и этапам литературного развития, многим писателям и т. д. В Чехословакии центры русистики сложились в Праге, Брно, Оломоуце, Братиславе и других городах. Внимание исследователей привлекают не только русская и советская литература, но и сравнительно-типологические подходы, позволяющие делать сопоставления этих литератур с отечественной литературой, выявлять сходство и различия литературного процесса — нередко с учетом и более широкого — общеславянского или общеевропейского литературного развития. В поле зрения неизменно оказываются также литературные связи. Большую ра-

боту по этой проблематике ведет кафедра русского языка и литературы Оломоуцкого университета им. Ф. Палацкого, возглавляемая известным специалистом по советской литературе, д-ром филол. наук, проф. М. Заградкой. При этом привлекаются к работе и исследователи из других городов, а также осуществляется сотрудничество с зарубежными университетами — прежде всего с руководимой проф. Г. Юнгером кафедрой русистики и советской литературы Берлинского университета им. Гумбольдта. В апреле 1987 г. состоялся совместный симпозиум двух этих коллективов по проблемам связей литератур ГДР и Чехословакии с советской литературой, в котором приняли участие и литературоведы из других городов Чехословакии — Братиславы, Брно и т. д. Материалы симпозиума публикуются.

Полную информацию о деятельности Оломоуцкого центра русистики можно найти в Ежегодниках кафедры [1], содержащих научные статьи по языку, литературе и педагогике, а также сведения об исследовательской и преподавательской работе каждого члена кафедры.

В области изучения чешско-русских литературных связей кафедра имеет да-

леко идущую программу, предусматривающую создание нескольких синтетических трудов и прежде всего «Словаря чешско-русских литературных связей» и «Истории чешско-советских литературных связей» (первая часть охватит период с 1917 по 1945 гг.).

Преподаватели университета, а также специалисты из других городов, сотрудничающие с кафедрой, планомерно исследуют как отдельные вопросы истории русской и советской литературы, так и судьбы творчества русских писателей XIX—XX вв. в чешской читательской и литературной среде. Изданы, например, книга М. Заградки о военной теме в советской литературе 40—70-х годов [2]; М. Заградки, Д. Жвачека и М. Микулашека о современной советской литературе [3]; М. Микулашека «Мир современной советской драмы» [4] и его же исследования по Маяковскому. Выходят и работы, непосредственно посвященные литературным связям или затрагивающие их. Такими книгами М. Заградки «Советская литература и мы» [5]; исследования В. Кострицы, посвященные русской классической литературе [6], Лескову и Гаршину, работы Д. Кшиповой о поэме в эпоху романтизма и неоромантизма [7], Лермонтове и Грибоедове; Ц. Кучеры «Пути далекие и близкие. Главы из истории взаимосвязей Северной Чехии и СССР» [8] и др. Процесс и механизм восприятия русской и советской литературы анализирует К. Лепилова [9].

В 1986 г. издан и первый, поисковый, по определению авторов, коллективный словарь русско-чешских литературных связей [10]. Авторский коллектив — Э. Досталова, В. Кострица, К. Лепилова и Д. Жвачек во главе с М. Заградкой рассматривают издание как прообраз будущего большого словаря чешско-русских литературных связей, при этом оно имеет и большую самостоятельную ценность.

В книге освещено бытование творчества более восьмидесяти русских писателей в Чехии в период от начала XIX в. до 1945 г. Из советских писателей (составляющих около двух третей общего количества авторов) представлены — за редким исключением — получившие известность в Чехословакии еще до войны. История освоения чешской общественностью творчества русских писателей прослежена до наших дней. Говоря о составе словника, пожалуй, можно лишь пожалеть, что из классиков русской литературы уже в это издание не во-

шли Г. Р. Державин, В. А. Жуковский и А. С. Грибоедов.

Статьи включают разнообразные сведения. Отмечены непосредственные контакты писателей. В случае посещения Чехии тем или иным автором (Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев и десятки других) фиксируется дата и цель поездок, встречи с видными деятелями культуры, литераторами, читателями, выступления в печати, газетные и журнальные отклики на визит, отражение впечатлений от поездки в творчестве самих писателей и т. д. Содержится обстоятельная информация о посещениях Чехословакии советскими писателями М. Кольцовым, С. Третьяковым, Л. Леоновым и др. Отмечается и переписка с чешскими адресатами.

В каждой статье сообщается о времени первого знакомства чешской читательской общественности с творчеством данного писателя, о журнальных и книжных публикациях отдельных произведений, сборников, собраний сочинений. Часто, впрочем, эти сведения не носят исчерпывающего характера, так как полная библиография потребовала бы слишком много места. Так из статьи о Пушкине мы узнаем, что только число переводчиков русского поэта к началу 50-х годов XX в. превысило 110 человек. Еще между 1900 и 1938 гг. в Чехии было переведено около 400 произведений Горького и появилось около 600 публикаций о нем, в том числе несколько книг. Не менее внушительна картина интереса к нему и в последующие годы. После войны чешскими авторами написано, например, около 10 книг о «буревестнике революции». Произведения Л. М. Леонова выходили только книжными изданиями более пятидесяти раз (не считая их издания в Словакии, а также испечпировок).

Существенно, что каждое издание фиксируется в словаре с указанием переводчика. Самостоятельную ценность представляет помещенный в книге именной указатель переводчиков, упомянутых в тексте (более 630 имен) с перечислением писателей, которых они переводили. Среди переводчиков русской поэзии такие крупные поэты как Ф. Л. Челаковский, С. К. Неймап, Й. Гора, В. Голан, В. Незвал, Я. Сейферт, И. Тауфер.

Читатель найдет в книге обширную информацию о постановке на чешской сцене пьес русских писателей (с указанием театра, времени постановки, переводчика). Иногда, впрочем, отметив, что те или иные пьесы (Чехова, Горького

и др.) стали постоянной составной частью чешского театрального репертуара, авторы отсылают к специальной библиографии М. Галика [11]. Сообщаются сведения об инсценировках прозаических и поэтических произведений (только у Достоевского были инсценированы в Чехии в общей сложности 22 романа, часто инсценировались рассказы Чехова, десятками насчитываются сценические воплощения произведений советских писателей, начиная поэмой А. Блока «Двенадцать», исполнявшейся рабочими хорошими коллективами еще в 1921 г. и кончая романами М. Шолохова). Отражены в словаре спектакли по произведениям русских писателей в кукольных театрах, киноэкранизации, телестановки.

Словарь позволяет составить представление о многочисленных музыкальных воплощениях произведений русских писателей чешскими композиторами, в том числе выдающимися: сочинения Л. Яначка на темы романов Достоевского, «Грозы» Островского, «Тараса Бульбы» Гоголя и др. На премьере чешской оперы Л. Мехура «Мария Потоцкая» по «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина (1871) дирижировал Б. Сметана. Из советских писателей внимание чешских композиторов привлекали В. Маяковский, С. Есенин, Б. Пастернак, А. Фадеев.

Русских авторов иллюстрировали такие выдающиеся чешские художники как Ф. Тихий (Гоголь, Толстой), М. Швабнянский (Щипачев). Особенно тщательно собраны в словаре сведения об иллюстраторах произведений Л. Толстого. В Чехословакии изданы такие публикации как «Пушкин—художник» (1950), «Маяковский — художник» (1954).

Важную часть каждой статьи в словаре, естественно, составляет характеристика чешской литературы о писателях — перечень откликов на произведения, рецензий, литературно-критических и научных статей и книг. Среди их авторов крупные чешские ученые, критики, писатели. В ряде случаев указаны чешские переводы книг советских авторов о своих отечественных писателях. К сожалению, мало учтена советская научная литература по чешско-русским литературным связям. Практически упоминаются лишь работы, помещенные в сборнике «Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения» (М., 1968). Между тем существуют многочисленные статьи и книги советских богемистов, посвященные этим вопросам и часто содержащие новый или малоизвестный

материал. Вспомним хотя бы книги Н. А. Раевского «Портреты заговорили» (1976) и Л. С. Кишкина «Чехословацкие находки» (М., 1985) — о пушкинских материалах в Чехословакии. Понятно, что авторы словаря не располагают в полной мере необходимыми источниками. Очевидно, здесь могло бы помочь сотрудничество с советскими литературоведами.

В словаре зафиксированы некоторые чешские конференции и выставки, посвященные русским писателям.

Особый интерес представляет информация о непосредственных творческих контактах, указание на то, как русские писатели оказывались причастными к чешскому литературному развитию. Так например, отмечается, что творческая практика Л. Толстого учитывалась (в частности известным чешским эстетиком О. Гостинским) в дискуссиях начала 80-х годов XIX в. о реализме и натурализме, что она обладала большой притягательной силой для молодого поколения конца XIX в., из которого вышли критики Ф. Шальда, В. Мршттик, Г. Шауэр, что в нем находили творческие импульсы А. Гейдук, Ф. Таборский, А. А. Клаштерский, Я. Врхлицкий, С. Чех, А. Сова, А. Сташек, Й. Махар, Ф. Шрамак и др. Аналогичные сведения содержатся в статьях о ряде других писателей. Так, книга стихов С. Щипачева «Строки любви», переведенная на чешский язык в 1952 г. и выходявшая затем 13 раз, сыграла большую роль в развитии чешской поэзии, в преодолении догматически-вульгаризаторских представлений, когда из нее по сути дела изгонялась интимная лирика.

«Малый словарь чешско-русских литературных связей» рассматривается его создателями как первый опыт подобного рода и подготовительный материал к «Истории чешско-русских литературных связей», где будет, кстати говоря, прослежен и встречный процесс — вхождение чешской литературы в контекст советской духовной жизни. Однако книга, созданная в Оломоуце, имеет и большое самостоятельное значение. Она представляет собой незаменимый источник для изучения чешско-русских литературных отношений, мимо которого не пройдет ни один литературовед, занимающийся исследованием этой проблематики. Отметим также, что «Словарь» создавался людьми, глубоко увлеченными русской литературой, питающими высокому уважение к тем ценностям, которые она содержит. Это несомненно будет способствовать и широкому практическому использо-

ванию этой книги. Авторский коллектив сделал большое полезное дело.

Никольский С. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Rossica Olomucensia. Ročenka katedry rusistiky na filosofické a pedagogické fakultě University Palackého. Olomouc. 1986.*
2. *Zahrádka M. Literatura a válka. Praha. 1980.*
3. *Zahrádka M., Žváček D., Mikulášek M. Současná sovětská literatura. Proza. Poezie. Drama. Praha. 1984.*
4. *Mikulášek M. Svět současného sovětského dramatu. Brno. 1981.*
5. *Zahrádka M. Sovětská literatura a my. Praha. 1981.*
6. *Kostřica V. Studie z ruské klasické literatury. Praha. 1986.*
7. *Kšicová D. Poéma za romantismu a novoromantismu. Česko — ruské paralely. Brno. 1983.*
8. *Kučera C. Cesty daleké a blízké. Csti nad Labem. 1986.*
9. *Lepilová K. Konkretizace uměleckého textu a čtenářská aktivita. Olomouc. 1981.*
10. *Malý slovník rusko — českých literárních vztahů. Praha. 1986.*
11. *Halík M. Ruské a sovětské hry. Praha. 1973.*

Typy opisów gramatycznych języka. Materiały polsko-czeskiej sesji naukowej. Jabłonna 16 — 17 XI 1983. Pod red. M. Basaja. Wrocław etc., 1986, 206 s.

Типы грамматических описаний языка. Материалы польско-чешского симпозиума

Данная книга представляет собой сборник докладов, которые были прочитаны на польско-чешском симпозиуме, организованном Институтом славяноведения ПАН. В докладах нашли отражение многие современные теории грамматических описаний, нередко существенно различающиеся, но одинаково характеризующиеся отсутствием универсальности и не обеспечивающие основы для реализации полного описания языка.

Сборник состоит из пяти разделов. В первом собраны статьи, посвященные общим проблемам грамматики, преимущественно синтаксиса. Я. Коженски обсуждает соотношение трех выделяемых им типов грамматических описаний и прикладного языкознания, т. е. преподавания языка, использования его в информатике, автоматическом переводе и пр. В. Косеска-Гошева сообщает о польско-болгарской сопоставительной грамматике, разрабатываемой лингвистами Института славяноведения ПАН. Участники этого труда избрали такую методiku, при которой польский и болгарский языки сопоставляются с помощью некоторого «языка-посредника», и описание ведется от глубинных семантических структур к формальным поверхностным. Эд. Главса рассматривает концепции синтаксиса, принятые в современных академических грамматиках русского и чешского языков. О. Шолтыс обсуждает строение пеглазольных предложений, как оно пони-

мается в современной чешской лингвистической литературе. Некоторым проблемам логико-синтаксического описания лужицких языков посвящена большая статья Г. Фаске. М. Юрковски предлагает формализованную схему представления сравнительных конструкций польского языка. К. Терминьска описывает применение логического приема идеализации в семантических описаниях. В очень краткой статье, более похожей на тезисы, О. Войташевич предлагает трактовать тему и рему предложения как определенным образом организованную пару, описываемую с помощью логических формул.

Статья второго раздела в сборнике относится к словообразовательной тематике. М. Кнаппова обсуждает методiku описания словообразовательных типов в академических грамматиках славянских языков. Я. Петр пишет о концепции строения слова, принятой в академической грамматике чешского языка. Г. Врубель рассматривает возможности и ограниченности описаний словообразовательных структур, соответствующих модели языка «значение → форма». Статья Г. П. Нецименко посвящена вопросам словообразовательной вариативности с позиции выявления центра и периферии в деривационной системе (на материале чешского языка).

Третий раздел представлен статьей Т. Скубаланки о вопросах грамматической стилистики.

В четвертом разделе сборника помещены работы, трактующие вопросы лексики и фразеологии (А. М. Левицкого — о соотношении лексики и грамматики при описании фразеологизмов и Д. Буттлер — о сопоставительном анализе лексических инноваций в польском, чешском и русском языках).

Три статьи последнего раздела посвящены истории языкознания. Я. Порак кратко осветил особенности описания языковой системы в старых чешских грамматиках (XVI—XVII вв.) В. Петрачкова также пишет о старочешских грамматиках, разделяя их на два типа — ос-

нованные на латинской грамматике и отступающие от латинской традиции. М. Басай дал анализ «Грамматики для народных школ» О. Копчиньского (XVIII в.), первой польской нормативной грамматики.

Этот интересный сборник, предлагающий нашему вниманию теоретические проблемы, связанные с разными типами описания языков, может рассматриваться как стимул к дискуссии об особенностях описательных грамматик.

Молошная Т. Н.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Алексиева А.* Преводната проза от гръцки през Возраждането. София, 1987, 300 с.
- Асен Златаров в спомена на негови съвременници. Сборник./Съст. и ред.: Братанов Д. Ц., Стоименов С. В., Златаров С. А. и др. София, 1987, 352 с., ил.
- България през XV—XVIII вв. Историографски изследвания «Българи XV—XIX вв.» Т. I. София, 1987, 321 с.
- Българо-съветски отношения и връзки. Сборник от студии и статии. София, 1987, 316 с.
- Васил Левски (1837—1987): Изследвания/Бълг. акад. на науките. Ин-т по история. Ред. кол. Христов Х. (отв. ред.) и др. София, 1987, 319 с., л. портр.
- Введение христианства на Руси. Отв. ред. А. Д. Сухов. М., 1987, 304 с.
- Вопросы истории и практики совершенствования социальных отношений в странах социализма. Сб. науч. тр./Редкол.: Феофанов О. А. (отв. ред.), Калинина К. В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. М., 1987, 165 с.
- Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. Сб. ст./Редкол.: Жуковская Л. П. (отв. ред.) и др. АН СССР. Ин-т рус. яз. М., 1987, 246 с.
- Изучение культур славянских народов. Сб. ст./Ред.-сост.: Злыднев В., Ритчик Ю. Ред. Цыганков В. АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. М., 1987, 159 с.
- Историография истории южных и западных славян. М., 1987, 261 с.
- Под знака на Октомври и дружба. /Хаджиниколов В., Минчев М., Горанов П. и др. Съст.: Горанов П. Общонар. ком. за бълг.-съв. дружба. София, 1987, 165 с.
- Славянская морфология: Субстантив, словоизменение./Ананьева Н. Г., Ермакова М. И. и др. Отв. ред. Потва Т. В. АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. М., 1987, 264 с.
- Українська література в загально-слов'янському і світовому літературному контексті: В 5-ти т./Редкол.: Вєрвєс Г. Д. (голова) та ін. АН УРСР. Ін-т. літ. ім. Т. Г. Шевченка. Т. I. Українська доживтєва література і слов'янський світ. Київ, 1987, 501 с.
- Утверждение коммунистических идеалов и идейно-художественное обогащение социалистических литератур./Отв. ред. Топер П. М. Многосторон. пробл. комис. акад. наук соц. стран «Закономерности развития мировой литературы». М., 1987, 383 с.



ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

MAREK BYDŽOVSKÝ Z FLORENTINA. Svět za tři českých králů. Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526 — 1596. Praha, 1987, 300 s.

МАРЕК БЫДЖОВСКИЙ ИЗ ФЛОРЕНТИНА. Мир при трех чешских королях. Подборка записей хрониста о 1526 — 1596 годах

Издательство «Свобода» в серии изданий средневековых чешских источников, которая получила признание специалистов и широких читательских кругов, выпустило первое издание интересного памятника XVI в. По жанру это так называемая «всемирная хроника» — свод сообщений о событиях мировой истории, в данном случае за 1526—1596 гг. Ее автор — профессор Пражского университета Марек Быдзовский из Флорентина (1540—1612). До сих пор эта хроника оставалась в рукописи, за исключением небольших фрагментов, опубликованных в первой половине XIX в. Среди специалистов за хроникой Быдзовского закрепилось мнение, как об источнике второстепенном, компиляции из хорошо известных сообщений. В какой-то мере это безусловно так. Однако, если мы подойдем к памятнику не как к источнику информации о конкретных событиях, а как к документу эпохи, показывающему, что из окружающего мира, а главное как воспринимало чешское общество, то сочинение Быдзовского станет несомненно полезным для изучения «картины мира» чешских гуманистов, менталитета верхних слоев чешского общества. Таким образом, издание хроники находится в русле современных историко-культурных интересов. Действительно, хроника дает нам представление о беллетризирующем морализаторском характере политической информации, об интересе ко всему сверхъестественному, аномальному, чудесному в природе, так присущему эпохе начала формирования естественнонаучного знания, показывает широкий кругозор чешской интеллигенции XVI в. В поле зрения хрониста и внутрочешские дела, и важнейшие события политической жизни Западной Европы, и войны с

Османской империей, и всяческие «чудеса» (рождение детей с физическими аномалиями, экстраординарные уголовные преступления, небесные видения и т. п.), и сообщения о стихийных бедствиях. Исследователи русского феодализма найдут здесь сообщения о Ливонской войне, о русском посольстве 1595 г. к императору Рудольфу II в Прагу, показывающие восприятие чешской средой русских и их истории, личности Ивана Грозного. Труд Быдзовского интересен и как памятник чешской литературы. Именно с этих позиций осуществил это издание Я. Колар. Поскольку объем хроники не позволил опубликовать ее целиком, издатель сделал подборку, составившую треть всего материала. Его целью было дать «репрезентативную картину целого», показать «способ работы автора и тип его мышления» (s. 270). Однако при таком подходе издатель сосредоточил внимание на сообщениях из-за границы и о «чудесах». В публикации не нашли отражения некоторые важнейшие события чешской истории (восстание 1547 г., мандат Рудольфа II о вероисповедании и др.). Издатель не поставил себе целью выявление круга источников, из которых брал материал Быдзовский. Жаль, так как это позволило бы определить, каким образом распространялась информация в чешской культурной среде XVI в., показать, как ей удавалось быть в курсе всех европейских дел. Издатель оговорил, что он не дает широких исторических комментариев и даже не указывает на историческую недостоверность некоторых сообщений. Если первое объяснимо ограниченностью объема, то второе лишь дезориентирует читателя. В сообщениях о Западной Европе объясняется искаженно имен и названий, однако русские

реалии остались даже без самого необходимого комментария. Так, нужно было пояснить, что хронист не понял значения русских отчества, указать, что «Крупский» — это князь Курбский и т. п. Неприемлемо примечание об Иване Грозном (с. 279), который назван не русским, а лишь «московским» царем, одно из значений его прозвания «Грозный» объясняется как «справедливый» и т. п. В целом отсутствие хотя бы небольших исторических комментариев не позволяет читателю понять, насколько верно отражены в хронике события.

Песмотря на отмеченные недостатки, издание сочинения М. Быдзовского свое-

ременно и полезно, оно вводит в культурно-исторический контекст новый интересный источник о чешском гуманизме XVI в. Книга прекрасно издана, в нее включены иллюстрации, часть которых представляет значительный научный интерес. Можно надеяться, что это издание привлечет внимание широкого круга исследователей, так как оно затрагивает многие аспекты исторического гуманитарного знания.

Мельников Г. П.

PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ M. Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu. Warszawa — Wrocław, 1986, 273 s., il.

ПІДЛЫПЧАК-МАЙЕРОВИЧ М. Базилиане в Польше и Великом князствє Литовском. Школы и книги в деятельности ордена

Цель монографии, по словам автора, представить вклад базилиан в просвещение и культуру феодального периода Польши, а также взаимное проникновение культур польско-латинской и русской (т. е. собственно русской, белорусской и украинской). Хронологические рамки работы охватывают 1617—1800 гг., т. е. период от фактического создания ордена до потери независимости Речью Посполитой (1795).

Подобное масштабное исследование роли базилиан в культурной жизни Польши, Белоруссии, Украины и Литвы XVII—XVIII вв. предпринимается впервые. Монография состоит из вступления, шести глав («Очерк истории ордена базилиан от Брестской унии до конца XVIII в.», «Базилианская школьная система в XVII и XVIII вв.», «История базилианского книгопечатания на землях Польши и Великого княжества Литовского», «Содержание базилианских изданий», «Оформление базилианских изданий», «Базилианские библиотеки и их роль в деятельности ордена»), заключения. В качестве приложения помещены также: «Указатель сокращений, использованных в списке базилианских изданий», «Список базилианских изданий, выпущенных в свет в 1628—1800 гг.», «Указатель авторов, чьи произведения печатались в базилианских типографиях», «Имена членов базилианского ордена, имевших библиотеки», «Список

базилианских монастырей, имевших библиотеки, а также указатель книг из базилианских библиотек», «Указатель архивных источников и литературы». Книга снабжена резаком на русском и французском языках. Таким образом, монография представляет собой еще и интересное справочное пособие, содержащее перечень более 1300 изданий на книжнославянском, белорусском, украинском, польском, латинском и других языках, увидевших свет в четырех главнейших типографиях базилиан до конца XVIII в.: в Вильно, Супрасле, Уневе, Почаеве и в более мелких: в Минске, Львове и др. Вообще, книга у базилиан, базилианские издания являются, пожалуй, основным предметом исследования автора, которое проведено, как правило, с помощью историко-книговедческих методов. В результате удалось довольно точно воспроизвести малоизвестную картину культурной жизни крупного ордена «русского обряда», сумевшего создать благодаря книгам и школам стройную образовательную систему, на которую даже опиралась в своей деятельности знаменитая Эдукационная комиссия (1773—1794).

Труднодоступность многих материалов, связанных с издательской деятельностью базилиан, в том числе и большинства напечатанных ими книг, знакомых автору лишь по упоминаниям в различных каталогах и справочниках,

стала причиной того, что несколько сот базилианских изданий оказались вообще неизвестны ей, а значительнейшая часть из числа упомянутых в соответствующем «Списке» не проанализирована. Это привело к ряду неверных суждений, а также к забвению такого уникального и весьма

важного в истории восточнославянской культуры явления как старообрядческое книгопечатание, в значительной мере осуществлявшееся в базилианских типографиях.

Лабинцев Ю.

А. С. МЫЛЬНИКОВ. *Легенда о русском принце (Русско-славянские связи XVIII в. в мире народной культуры)*. Л., 1987, 173 с.

О самозванчестве в России в наши дни пишут много и серьезно. Профессора А. С. Мыльникова эта проблема заинтересовала не столько в контексте истории нашей страны, сколько с точки зрения взаимосвязей между несколькими славянскими народами, в рамках того народного сознания, которое питало идеи самозванчества и распространяло их. В поле его зрения оказались три ведущих проблемы: так называемые «народные государи»; пути, по которым образ государя одной страны проникал в сознание народа другой; народная культура, о которой в последние годы столько говорят и спорят.

В центре книги — личность русского императора Петра III и ее восприятие в народной среде России, Черногории и Чешских земель Австрийской империи. Каким образом человек, который был на политической сцене всего несколько месяцев, оказался в фокусе различных событий? В поисках ответа А. С. Мыльников восстанавливает ход переворота 28 июня 1762 г., выявляя надежды, которые связывали со свергнутым императором различные слои русского общества (глава «С верой в свободу: 1762—1772»). На этой основе вырисовываются основные черты легенды о Петре III, как о «царе-избавителе», которая до сих пор исследовалась, как правило, на русской почве. Автор рассматривает образ ожидаемого народом царя за пределами России, находит многочисленные зарубежные отголоски этой легенды.

Так, «русский принц» оказывается легендарной личностью, будто бы появившейся в северо-восточной Чехии в дни крестьянского восстания 1775 г. А. С. Мыльникову потребовалось немало остроумия, чтобы создать гипотезу о связи этого легендарного принца с реально существовавшими вождями повстанцев. Автор осознает гипотетический характер некоторых своих заключений, небезын-

тересных, однако, как попытка реконструировать силовое поле, в котором рождалась легенда.

Значительно больший материал привлечен в книге для характеристики другого самозванца — из Черногории. У того было реальное имя, о нем известно много больше и его историографическая традиция богаче. Но Мыльников не ограничивается истолкованием уже добытых фактов, он выстраивает их в новой, нужной ему связи. Он совершенно прав, утверждая, что черногорский вариант легенды о Петре III был актом коллективного творчества; в Черногории с ее племенным бытом иначе и быть не могло. И особенно важны фиксируемые им намеки, мистические догадки, пророческие предчувствия, которыми обростала народная вера в «царя-избавителя».

Интересно стремление автора выяснить степень связи пугачевских событий с заграницей и отыскать носителей этих связей — подпоручика М. А. Шванвича, отец которого был зачислен Петром III в голицейский полк, французов, шведов и «саксонов» — поволжских колонистов, наконец, рядовых польских конфедератов, живших в России (глава «„Третий император“ — Е. И. Пугачев: 1773—1775»). Характерны и слухи о пребывании Пугачева в Константинополе и даже в Иерусалиме. И с этой стороны образ Петра III, осмысливаемого в качестве «народного государя», обнаруживает связи со славянской средой.

Естественен вопрос: что же было в реальном Петре III, что дало основания для народных симпатий? В последней главе («Легенда против легенды») Мыльников по-новому оценивает многие стороны облика и поведения так мало процарствовавшего императора. Выясняется, что многие, присущие Петру черты (например, неутомимость, доброта, доверчивость, склонность к зпатажу) действительно да-

вали пищу для толков, в определенных обстоятельствах трансформировавшихся в образ необычного, непохожего на других государя, близкого народу.

Эти представления, обнаруживаемые им в сознании ряда славянских народов в конце XVIII в. и входят в понятие народной культуры. Общими соображениями относительно этой культуры («Хранительница народного духа») заканчивается книга. Яркой, убедительной, местами блестяще написанной книге А. С. Мыльникова мало что можно поставить в упрёк (хотя специалисты по отечественной истории могли бы, по-видимому, кое-что оспорить в трактовке правления Петра III). По-

зволим себе лишь два соображения. Истоками представлений о государе, «спустившимся» к народу, могли быть не только легенды, но и конкретные, зафиксированные этнографами традиции, например, народный обычай избирать в начале нового года «святочных (или „бобовых“) королей». Отзвуки этого обычая отражены в широко известной картине Йорданса «Король пьёт». И второе: автор не имел права обойти работы специалистов по истории народной культуры западно-европейского средневековья, в частности работы А. Я. Гуревича.

Фрейдберг М. М.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Фрапцыск Скарына. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Мінск, 1988, 348 с.
- Хрестоматія па гісторыі южных і заходніх славян. В 3-х томах. Т. I. Эпоха феодалізма. Мінск, 1987, 272 с.
- Этносацыяльная і палітычная структура раннефеадальных славянскіх дзяржаў і народнасцей. / Отв. ред. Літаврын Г. Г. АН СССР. Ін-т славянаведання і балканистыкі. М., 1987, 223 с.
- Яскевич А. С. Становленне беларускай художественнай традыцыі. Мінск, 1987, 232 с.
- Durišin D. Dialógy a reflexie: O medziliterárnosti. Bratislava, 1987, 197 s.
- Gospodarowanie i sztuka ludowa w Karpatach: Z badań terenowych. 1976—1980/ Red: Pietraszok E. Wrocław, 1987, 156 s.
- Klátik Z. Slovenska a juhoslóvanská literatúra: Vývinové aspekty medziliterárnych vzťahov. Bratislava, 1987, 234 s.
- Koszel B. Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Balkanach w latach 1933—1941. Poznań, 1987, 374 s.
- Kultura wsi Polski środkowej w procesie zmian. T. 3. Warszawa — Łódź, 1987, 333 s.
- Lamprecht A. Praslovanština. Brno, 1987, 197 s.
- Maleczyńska K. Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów. Wrocław, 1987, 244 s.
- Miołek J. Odpowiednie dać rzeczy słowo: Szkice o współczesnej polszczyźnie. Wrocław, 1987, 263 s.
- Polacy i Niemcy: Dziesięć wieków sąsiedztwa. Studia ofiarowane prof. Januszowi Pajewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Pr. zbior./Pod red. Czubińskiego A. Warszawa, 1987, 470 s.
- Przeszłość demograficzna Polski: Materiały i studia/Pol. akad. nauk. Kom. nauk demograficznych. Sekcja demografii hist. Warszawa, 1987, 284 s.
- Studia z filologii polskiej i słowiańskiej/Kom. słowianoznawstwa Pol. akad. nauk. Warszawa, 1987, 330 s.
- Sztuka Polska po 1945 roku. Materiały sesji stowarzyszenia historyków sztuki. Warszawa, 1987, 402 s.
- Štúr L. O poézii slovanskej/Zost. a ed. pripr. Vonrej P. Martin, 1987, 131 s.
- Wkład X zjazdu PZPR w rozwój teorii partii i państwa socjalistycznego/Pod red. nauk. Barana J. Warszawa, 1987, 436 s.



В. Н. ТОПОРОВУ — 60 ЛЕТ

5 июля 1988 г. исполняется 60 лет Владимиру Николаевичу Топорову. Деятельность ученого с самого начала тесно связана с Институтом славяноведения и балканистики АН СССР, куда он был принят в 1954 г., и — со времени его основания в 1960 г. — с Сектором структурной типологии, который он возглавлял на первых порах и где работает и сейчас, руководя темой «Балто-славянские этноязыковые контакты в настоящем и прошлом».

Перечень научных трудов В. Н. Топорова, включающий более 1000 названий, открывают и до сегодняшнего дня занимают в нем ведущее место исследования по славянской филологии. Среди них монографии «Локатив в славянских языках» (М., 1961), «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья» (М., 1962; в соавторстве с О. Н. Трубачевым), «Славянские языковые моделирующие семиотические системы» (М., 1965), «Исследования в области славянских древностей» (М., 1974; обе в соавторстве с Вяч. Вс. Ивановым), а также фундаментальные серии статей по сравнительной грамматике славянских языков, этимологии, ономастике, мифологии, славянскому фольклору. Итоги многолетних исследований ученого в области балто-славистики и балтистики представляет этимологический словарь прусского языка, ставший незаменимым пособием для специалистов по славянскому, балтийскому и индоевропейскому языкознанию («Прусский язык. Словарь». М., 1975—1984, т. I—IV; очередные тома ждут своего издания). Этот словарь, являющийся компендиумом — подлинной энциклопедией духовной и материальной культуры древних балтов, вместе с другими многочисленными работами по истории, фольклору и языку живых и исчезнувших балтийских народов и племен, подняли балтистику на новую ступень и озаменовали тем самым но-

вый этап в балто-славянских и балто-индоевропейских исследованиях. Словарь служит блестящим образцом использования характерного для всех этимологических работ В. Н. Топорова подхода, при котором итогом исследования оказывается не только строго лингвистическая констатация происхождения слова, но и реконструкция целого соотносительного с этим словом фрагмента традиционной культуры.

Сименом В. Н. Топорова связаны принципиально новая постановка и детальная разработка проблемы древнейших балто-славянских языковых отпощений и более позднего балтийско-славянского языкового союза, изучение балто-славяно-балканских меридиональных изоглосс, важнейшие достижения в изучении истории праславянского языка и реконструкции праславянского текста, установление восточных, южных и западных границ распространения балтийского языкового элемента по топонимическим и коррелирующим с ними языковым и культурно-историческим данным; за пределами этого перечня остаются многие другие результаты, получившие самое широкое признание и активно развиваемые в современной науке.

Исследованиями по славистике и балтистике далеко не исчерпывается вклад В. Н. Топорова в филологическую науку. Не менее важно вспомнить здесь его монографии и статьи, посвященные другим индоевропейским языкам (древнеиндийскому, пали, хеттскому, тохарскому, дардским, иллирийскому, греческому, латинскому и др.), языкам Центральной Азии (В. Н. Топорову принадлежит идея выделения лингвистических признаков центральноазиатского языкового союза), енисейской языковой семье (он был организатором и участником экспедиции Института славяноведения и балканистики по полевому изучению кетского языка), а также вопросам линг-

вистической типологии, теории компаративистики и методологии лингвистического описания. Семиотический подход, характеризующий языковедческие исследования В. Н. Топорова, столь же плодотворно используется им в многочисленных трудах по поэтике, истории литературы, фольклористике, сравнительной мифологии (он один из основных авторов

энциклопедии «Мифы народов мира»), истории изобразительного искусства (начиная от самых ранних его форм).

Труды В. Н. Топорова, к какой бы области исследований они ни относились, содержат синтез современных знаний, глубокий анализ изучаемых проблем и результаты первостепенного значения для науки.

XXV ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ

18—19 сентября 1987 г. в г. Нови Сад (СФРЮ) состоялось XXV Пленарное заседание Международного комитета славистов (МКС), организованное в рамках международной конференции, посвященной 200-летию Вука Караджича — основоположника южнославянской славистики.

В состав советской делегации входили председатель Советского комитета славистов акад. Н. И. Толстой (руководитель делегации), акад. АН УССР В. М. Русановский, д-р филол. наук А. Н. Робинсон, канд. филол. наук В. П. Гребенюк. Заседание проходило под председательством вице-президента МКС акад. П. Дивекова.

Присутствующие почтили минутой молчания память умерших членов МКС акад. В. Георгиева (НРБ), акад. Й. Хамма (Австрия), акад. Г. В. Степанова (СССР), проф. М. Шимчака (ПНР).

Рассмотрены два основных вопроса: утверждение календарной программы X Международного съезда славистов и отчет славистических комиссий при Международном комитете славистов.

В начале заседания были избраны новые члены МКС: П. И. Толстой (СССР), Ф. Задрavec и М. Оука (СФРЮ), С. Урбанчик (ПНР), Джун-ихи Сато (Япония), Т. Матиасен (Норвегия). В состав МКС был включен представитель индийских славистов Г. Мукерджи. Вице-президентами МКС избраны Б. Конески (СФРЮ) и Р. Олеш (ФРГ). Международный комитет славистов удовлетворил просьбу об отставке членов МКС С. Лунден (Норвегия), Р. Маринкович, Б. Крефта (СФРЮ), С. Грачиотти (Италия) и выразил им благодарность за многолетнюю и плодотворную работу в МКС. С. Грачиотти и Б. Крефт избраны почетными членами МКС.

Акад. П. Динсков сообщил членам МКС о сроках проведения X Международного съезда славистов. Съезд состоится в Софии с 14 по 22 сентября 1988 г. и откроется Пленарным заседанием 15 сентября во Дворце культуры им. Л. Живковой. Темы пленарных докладов будут согласованы Оргкомитетом съезда с национальными комитетами славистов в рабочем порядке.

Е. Дограмаджиева (НРБ) рассказала о принципах, на которых основывается представленная МКС календарная программа съезда. При обсуждении программы члены МКС отмечали, что ее составителям удалось выдержать тематическое единство при группировании докладов по секционным заседаниям. Были уточнены тематики и порядок пленарных, секционных и подсекционных заседаний. Г. Эккерт (ГДР) просил от имени комиссии по фразеологии славянских языков сгруппировать доклады по фразеологии славянских языков в одну подсекцию. Члены МКС высказали ряд других частных замечаний, которые организаторы съезда обещали учесть при доработке программы. Подтверждено право в случае отсутствия докладчика на съезде заменять его доклад на другой, близкий по теме, из числа письменных сообщений, обозначенных в программе съезда.

Обсуждена работа с 1983 по 1987 г. международных славистических комиссий, состоящих при МКС; с докладом выступил Я. Басара (ПНР). МКС одобрил доклад и просил разослать его в национальные комитеты славистов, признав необходимость регулярной информации научной общественности о работе комиссий, активизации их деятельности, издания совместных трудов, подготовленных комиссиями, а также принял решение:

утвердить председателем издательско-

текстологической комиссии Я. Пельца (ПНР), комиссии по транскрипции В. Станкова (НРБ);

восстановить комиссию по литературной библиографии и утвердить ее председателем И. Вацка (ЧССР);

создать комиссию по сравнительному славянскому литературоведению и утвердить ее председателем Б. Пичева (НРБ).

Решено следующее заседание МКС провести в Софии в 1988 г. Принято решение включить в программу заседаний, поми-

мо организационных вопросов, научные доклады.

С удовлетворением было принято сообщение комитета славистов Чехословакии (С. Вольман) о том, что XI Международный съезд славистов намечено провести в 1993 г. в г. Братислава.

Участники заседания выразили благодарность комитету славистов Югославии за гостеприимство и хорошую организацию XXV Пленарного заседания МКС.

Гребенюк В. П.

ПРАЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАИРСК

3—8 ноября 1986 г. в Праге проходила международная конференция «Теоретические и методологические проблемы истории славянских культур», организованная Чехословацким национальным комитетом Международной Ассоциации по изучению и распространению славянских культур (МАИРСК) и Институтом чешской и мировой литературы САН. Форма ее проведения была нетрадиционна: не было ни докладов и сообщений, ни секций, ни «круглых столов». Около 100 ученых из 17 стран собрались для рассмотрения представленных национальными комитетами МАИРСК проспектов восьмью томами «Очерков истории культуры славян», которые Ассоциация планирует издать в 90-е годы на славянских и на основных западных языках. За последние годы в рамках МАИРСК благодаря широкому и последовательному осуществлению принципа комплексности в области изучения многовекового историко-культурного процесса в славянских странах освоен столь обширный материал, что встала задача его обобщения и сведения в единый труд, каковым и должны стать упомянутые «Очерки».

Каждый из национальных комитетов МАИРСК курирует определенный том, и к Пражской конференции были подготовлены их проспекты.

Проспект I тома, посвященного древности и раннему средневековью, был представлен Советским комитетом. В его написании принимали участие канд. ист. наук А. И. Рогов, акад. АН СССР Н. И. Толстой, д-р ист. наук Б. Н. Флоря, член-корр. АН СССР В. Л. Янин. Том по хронологическому принципу разделяется на две части.

В части, охватывающей древний период истории славян, предполагается рассмотреть вопросы славянской прародины по лингвистическим и археологическим данным, причем для строгой объективности изложения этой, во многих аспектах еще спорной и нерешенной проблемы будут изложены и висло-одерская, и висло-днестровская и прочие теории. Начало великой миграции славян и первые этапы распада праславянского языкового и этнического единства рассматриваются с учетом древнейших исторических свидетельств о славянах и их культуре. Вопросы материальной культуры и духовной жизни славян древности будут базироваться на данных праславянского языка и археологии.

Особое место займет проблема религиозных верований древних славян и начальных форм художественного творчества. На основе ретроспективного анализа письменных источников, данных лингвистики, этнографии и фольклора будет реконструирована религиозно-мифологическая система древних славян, описаны отдельные пантеоны (киевский, поморский и др.).

Вторая часть тома, посвященная эпохе раннего средневековья, раскроет новые явления в материальной культуре, отрадит социальное расслоение, усиление этнических и политических границ между славянами, даст конкретный анализ культур крупных раннефеодальных славянских государств. Широко будут рассматриваться изменения в воззрениях славян в связи с принятием христианства, его политические и идейно-культурные причины, попытки приспособить языческие верования к новым условиям. Предстоит

подробно оценить характер культурных традиций, перенесенных на славянскую почву с принятием христианства (образование, литература, музыка, архитектура, изобразительное искусство), их конфессиональное и общекультурное значение, феномен «двоеверия».

В проспекте предусмотрен раздел о возникновении и распространении славянской письменности (территориально и по жанрам).

К числу принципиальных проблем тома отнесены формирование славянских пародностей. Этническое самосознание — главный показатель и итог этнических процессов у славян, — описан в связи со спецификой его проявления в разных общественных слоях и увязан с образованием государств. Особо выделены этнообразующие элементы, важные с точки зрения развития культуры.

Возникновение классового общества и перестройка традиционных норм права в период раннего феодализма обуславливает появление «книжной» и «пародной» культуры. Будет рассмотрена проблема принятия христианства и его значения для культурного развития славянских народностей.

В обсуждении проспекта, представленного советскими учеными, была выражена высокая оценка его научного содержания, назван ряд важных явлений в духовной эволюции славянских народов, требующих освещения в данном томе (например, богомилские движения), высказано пожелание дать развернутые характеристики конкретных художественных объектов, ставших неотъемлемой частью общемировой культурной сокровищницы.

В общих чертах было изложено председателем Польского комитета МАИРСК проф. М. Басаем содержание II тома «Очерков», освещающего период от XIV в. до второй половины XVIII в.

III том посвящен развитию славянских культур второй половины XVII — первой половины XIX в. Проспект его представил проф. С. Вольман, председатель Чехословацкого национального комитета МАИРСК. В центре внимания — национальное возрождение у славян. Культурные процессы предполагается тесно связать с процессом формирования славянских наций, показать взаимообусловленность этих изменений в жизни славянских народов, проследить отдельные фазы этой историко-культурной эпохи (Просвещение, романтизм). Важная задача тома в попытке подытожить споры

о периодизации этого периода, учтя в полной мере ее общеевропейские, общеславянские и национальные аспекты, а также уточнить общие термины (барокко, рококо, просвещение, классицизм, сентиментализм, преромантизм, романтизм), без единства трактовки которых невозможно справедливо оценить все многообразие явлений в культуре славянских народов. Особое место предполагается отвести раскрытию характернейшей черты славянской культуры того времени — принципу славянской общности.

Проспект IV тома «Культура славян второй половины XIX в.», который курирует Украинский комитет МАИРСК, был разработан учеными Киева и представлен директором Института искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР д-ром искусствоведения С. Д. Зубковым. Центральное место в томе будет отведено проблематике развития реализма — величайшего завоевания культуры этой эпохи, с которым связаны всемирные достижения славянских культур, в первую очередь, русской. Демократические тенденции в развитии литературы, искусства, философии прочно связаны с социально-освободительной борьбой славян. Значительное место в исследовании займет тема глубокого воздействия славянской художественной культуры XIX в. на западноевропейскую, усвоения последней эстетического и этического потенциала созданий славянских писателей, композиторов, художников. Предполагается отразить зарождение идей пролетарской демократии и их воплощение в художественных формах.

V том осветит состояние славянских культур в конце XIX — начале XX в. Болгарские ученые, создавшие проспект тома, выделяют два основных этапа в историческом развитии духовной культуры славян данного периода: реалистическо-прагматический и модернистско-индивидуалистический. Культурная проблематика будет расширена за счет углубленного освещения таких тем, как «культура и государство», «культура и школа», «культура и церковь». Будет показано мировое значение ленинизма в его борьбе с народничеством и философским идеализмом, влияние этой борьбы на общекультурный процесс.

Югославскими коллегами был охарактеризован VI том «Славянские культуры межвоенного периода», проспект которого пока не завершен.

VII том посвящен современным славянским социалистическим культурам,

их развитию после второй мировой войны. В проспекте, разработанном сотрудниками Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР под руководством директора института члена-корр. АН БССР С. В. Марцелева, акцентируется раскрытие гуманистической направленности славянских социалистических культур, их возрастающее значение и авторитет в кругу многих культур мира. В книге будет проанализирован весь комплекс духовной культуры стран социализма: художественное творчество, наука и просвещение, радио, телевидение, а также основные процессы и изменения в демографической ситуации, особенности общественного и семейного быта, внедрения в быт новых обрядов и праздников.

Оживленную дискуссию вызвал проспект VIII тома «Культура славян в неславянском мире», подготовленный итальянскими славистами во главе с проф. С. Грачиотти. Чрезвычайно обширный, он вместил в себя массу фактов разных исторических эпох и тем не менее участники обсуждения дополнили его еще многими реалиями, так, чтобы тема восприятия славянских культур в неславянских странах, плодотворность культурного взаимодействия между славянским и неславянскими регионами мира была отражена объективно и исчерпывающе.

Доработанные на основе дискуссий проспекты «Очерков истории культуры славян» предполагается издать в специальном выпуске «Информационного Бюллетеня МАИРСК» и разослать широкому кругу славистов Европы, Азии, Америки. Страны-координаторы томов намерены в ближайшие годы провести обсуждение окончательных вариантов и создать международные авторские коллективы. Предполагается сначала издавать тома на языке выпускающей страны, а в дальнейшем их перевод на западноевропейские языки будет организован Секретариатом ЮНЕСКО в Париже.

Одновременно с конференцией в Праге состоялась отчетно-выборная Генеральная Ассамблея МАИРСК. Она проходила в дни, когда Ассоциация, основанная в октябре 1976 г. в Берлине, отмечала 10-летний юбилей своей деятельности. В рамках и под эгидой ЮНЕСКО МАИРСК активно содействовала всестороннему изучению славянских культур, распространению знаний о славянских народах, широко используя принципиально важные методы сравнительного комплексного, междисциплинарного исследования культур славянских народов [1].

Генеральная Ассамблея МАИРСК избрала своим Президентом чехословацкого ученого проф. С. Вольмана. Вице-президентом от СССР стал д-р филол. наук В. И. Злыднев. В состав нового Бюро Ассоциации вошли ученые СССР, УССР, БССР, Болгарии, Польши, Чехословакии, Югославии, ГДР, ФРГ, Италии, Швеции, Франции, Великобритании. Почетным президентом избран советский ученый акад. Д. Ф. Марков, возглавлявший Ассоциацию со дня ее основания.

Очередные мероприятия МАИРСК международная конференция в ГДР «Литература и эстетическая мысль в Советском Союзе и в Европе под влиянием Октября 1917 года», посвященная 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 750-летию города Берлина (апрель 1987), и международный симпозиум в Югославии по случаю 200-летия со дня рождения Вука Караджича (сентябрь 1987), в рамках которого состоялось очередное заседание Бюро МАИРСК.

Ритчик Ю. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ритчик Ю. И. 10 лет Международной Ассоциации по изучению и распространению славянских культур.— Советское славяноведение 1987, № 2.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ПО ИСТОРИКО-СЛАВИСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

12—14 ноября 1987 г. в Университете штата Колорадо (Боулдер, США) состоялась научная конференция Комиссии по историко-славянистическим исследованиям по проблеме «Научные и культурные учреждения в России и Восточной

Европе». Основное внимание конференции сосредотачивалось на деятельности научных учреждений и обществ, а собственно культурная тематика лишь затрагивалась.

В докладе И. И. Костюшко «Связи АН

СССР с зарубежными научными учреждениями в области общественных наук (1917—1941)» были рассмотрены основные формы контактов и сотрудничества советских и зарубежных обществоведов (обмен научной литературой, рукописями, коллекциями и другими материалами, научные командировки, участие в международных конференциях, съездах, экспедициях, изданиях, постоянных научных ассоциациях и т. д.) и отмечалась взаимная полезность этих связей для развития научных исследований.

Доклад Э. Тадена (Иллинойский университет в Чикаго) был посвящен деятельности Американской ассоциации содействия славистическим исследованиям. Ассоциация, созданная в 1948 г. в целях издания «Американского и восточноевропейского обозрения», в 60-х годах превратилась в национальную членскую организацию профессионального характера. Подавляющее большинство американских славистов интересуются вопросами литературой, социально-экономической и исторической жизни славянских народов в XIX—XX вв.; лишь немногие занимаются проблемами Киевской, Московской и Западной Руси и XVIII в. По мнению докладчика, важное значение имели ежегодные научные конференции, издания информационного бюллетеня, «Славянского обозрения» и библиографии славянских и восточноевропейских исследований.

В докладе В. Босса (Университет Мак-Гилл, Канада) — «Санкт-Петербургская Академия наук и научная революция в России» говорилось о научной деятельности Академии наук. Я. Шолта (АН ГДР) выступил с докладом «Лейпцигское эконо-

мическое общество и позднефеодалное аграрное устройство в XVIII в.».

Кроме того, на конференции были заслушаны доклады: А. М. Драбек (Австрийская АН) — «Роль Венской императорской Академии наук в первые десятилетия ее существования»; К. Бодea (Институт истории Румынской АН) — «Предшественники Румынской Академии наук»; Х. Христова (БАН) — «Болгарское научное общество»; К. Германа (ЧССР) — «Деятельность научных обществ в Чехии и Словакии во второй половине XIX в. и до 1914 г.»; Л. Тшепяковского (ПНР) — «Роль польских научных обществ в культурного развития. 1800—1914».

В качестве комментаторов или экспертов по докладам выступили: С. Фитер-Галати (США), А. Драбек, В. Босс и Б. Мишель (Франция). Затем состоялась оживленная дискуссия, в ходе которой говорилось о важном значении обсуждаемой проблематики, приводились новые факты и отмечались спорные положения в некоторых докладах.

Доклады и информация о конференции будут опубликованы в «Восточноевропейском квартальнике», издаваемом при Университете штата Колорадо.

После конференции состоялось заседание Президиума Комиссии, на котором были произведены некоторые изменения в личном составе Комиссии, уточнена тема собрания Комиссии в Мадриде («Исторические связи славянских народов с народами Пиренейского полуострова»), обсуждены замечания по Уставу Комиссии. Очередную конференцию Комиссии намечено провести в Москве в сентябре 1988 г.

Костюшко И. И.

* * *

На сессии Общего собрания Академии наук СССР, завершившейся 23 декабря 1987 г., в ее состав были избраны ученые-слависты: действительным членом — Н. И. Толстой, членами-корреспондентами — А. А. Зализняк (по Отделению литературы и языка) и Г. Г. Литаврин (по Отделению истории).

Н. И. Толстой — крупный специалист в области славянской филологии, заведующий сектором этнолингвистики и фольклора Института славяноведения и балканистики АН СССР (ИСБ). Основная сфера его исследований — старосла-

вянский язык и письменность, история славянских литературных языков, этнолингвистика и фольклор, историческая лексикология славянских языков.

Н. И. Толстой — основатель нового научного направления — комплексного этнолингвистического изучения языка и духовной культуры славянских народов. Под его руководством подготовлены труды «Полесье» (М., 1968), «Лексика Полесья» (М., 1968), «Полесский этнолингвистический сборник» (М., 1983), «Полесье и этногенез славян» (М., 1983). В работах «Из опытов типологического ис-

следования славянского словарного состава» (1963, 1966), «О реконструкции праславянской фразеологии» (1973) им вскрыты закономерности семантического развития лексики и фразеологии славянских языков на ранних этапах их существования.

Широко известны труды Н. И. Толстого в области лингвистической географии, монография «Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды» (М., 1969). Теоретические разработки ученого положены в основу создаваемого под его руководством фундаментального труда «Этнолингвистический словарь славянских народных древностей».

В течение ряда лет Н. И. Толстой читает курсы по славянской филологии и славянскому фольклору на филологическом факультете МГУ; является председателем Советского комитета славистов, заместителем главного редактора «Вопросов языкознания», членом редколлегии журнала «Русская речь», реферативного журнала «Языкознание за рубежом», а также ряда серийных изданий; избран иностранным членом академий: Австрийской, Македонской, Сербской, Югославянской (Загреб) и Словенской.

А. А. Зализняк — ведущий научный сотрудник ИСБ, известен в нашей стране и за рубежом как выдающийся лингвист.

Круг его научных интересов обширен — русская морфология и лексикография, историческая грамматика русского языка, сравнительная акцентология славянских языков, общее языкознание и типология языков, проблемы индоевропейстики, грамматика санскрита, теория составления лингвистических задач. Вот лишь некоторые из его многочисленных работ: «Русское именное словоизменение» (М., 1967), «Грамматический словарь русского языка», выдержавший три издания (М., 1977, 1980, 1987), «От праславянской акцентуации к русской» (М., 1985), «Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.)» (совместно с В. Л. Яниным) (М., 1986), «Грамматический очерк санскрита», опубликованный как приложение к «Санскритско-русскому словарю» (М., 1978).

А. А. Зализняк — один из авторов книг «200 задач по языковедению и ма-

тематике» (М., 1972), «Лингвистические задачи» (М., 1983).

С 1959 г. он ведет занятия на филологическом факультете МГУ на отделении структурной и прикладной лингвистики и на отделении русского языка; входит в состав редколлегии журнала «Советское славяноведение»; член Парижского и Американского лингвистических обществ. С 1982 г. — постоянный участник Новгородской археологической экспедиции.

Г. Г. Литаврин — заведующий сектором истории средних веков ИСБ, один из ведущих специалистов по средневековой истории южных славян, истории Византии, русско-византийских связей и балканского этногенеза. Хронология его исследований — более 1000 лет, от эпохи раннего феодализма до периода османского господства; география — от Балкан до Киевской Руси и Северного Причерноморья.

В трудах ученого раскрыты наиболее важные линии эволюции аграрных отношений, городской жизни, социальной борьбы на Балканах, изучены разные стороны всего комплекса славяно-византийских отношений и связей в эпоху феодализма.

Важным вкладом в науку стали его монографии «Болгария и Византия в XI—XII вв.» (М., 1960), «Византийское общество и государство в X—XI вв.» (М., 1977), книги «Очерки истории Византии и южных славян» (в соавторстве) (М., 1958), «Советы и рассказы Кекамена. Сочинение византийского полководца XI века» (подготовка текста, введение, перевод и комментарий) (М., 1972), «Очерк средневековой истории Болгарии» в труде «Краткая история Болгарии» (М., 1987). Представляет интерес очерк «Как жили византийцы» (М., 1974).

Г. Г. Литаврин является заместителем председателя советской части Комиссии историков СССР и НРБ, ответственным редактором ряда крупных коллективных трудов, заместителем ответственного редактора «Византийского временника», заместителем главного редактора журнала «Советское славяноведение». Его плодотворная научная и общественная деятельность отмечена правительством НРБ. В 1984 г. Г. Г. Литаврину была присуждена международная премия им. Кирилла и Мефодия.

CONTENTS

Zseliczky B. J. Main changes and trends in the development of the social structure in Hungary, 1960s—1980s. *Lopatniuk S.* (Polska). Polish-Soviet economic cooperation during the period of the six-years-plan. *Kirillina L. A.* The historiography of the revolutionary movement in the Slovene lands, 1848—1849. *Leschilovskaya I. I.* Illyrism in the Russian journalism of 1830s and 1840s. *Stakheyev B. F.* The romanticism in South and West Slavic literatures as a literary movement in the epoch of the formation of nations. *Chepelevskaya T.* The specificity of genre in Ivan Cankar's «Hlapec Jernej in njegova pravica» (A contribution to the study of the genre of parable in the Slovene literature). *Lutsenko N. A.* Praesens historicum in the system and functioning of Slavic languages. *Gindin L. A.* On the technique of translation in the Cyrillic-Methodian school: Two Old Church Slavonic calques in Codex Suprasliensis. 3

LETTER TO THE EDITORS

A domain with «entrance forbidden»? 81

COMMUNICATIONS

Lipatov A. V. To the 100th Anniversary of the Literary Society «A. Mickiewicz» 88

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

Kaloyeva Ye. B. V. Goati. SKJ, kriza, demokratija. *Dostyan I. S.* В. И. Шеремет. Османская империя и Западная Европа. Вторая треть XIX в. *Nikolskiy S. V.* The study of literary connections in the University of Olomouc. *Moloshnaya T. N.* Туру opisów gramatycznych języka. Materiały polsko-czeskiej sesji naukowej 93

BOOK NOTICES

Melnikov G. P. Marok Bydžovský z Florentina. Svět za tři českých králů. Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526—1596. *Labyntsev Yu.* Pidtyrczak-Majerowicz M. Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu. *Freydenberg M. M. A. C.* Мыльников. Легенда о русском принце (Русско-славянские связи XVIII в. в мире народной культуры) 101

SCIENTIFIC LIFE

V. N. Toporov's 60th birthday. *Grebenyuk V. P.* 25th plenary session of the International Committee of Slavists. *Ritchik Ju. I.* The conference of the International Association for the Study and Dissemination of Slavic Cultures in Prague. *Kostlyushko I. I.* Conference of the International Commission on Slavic Historical Studies 105

Технический редактор *Е. В. Силицына*

Сдано в набор 11.02.88 Подписано к печати 29.03.88 А-03030 Формат бумаги 70×108^{1/16}
 Высокая печать Усл. печ. л. 9,8 Усл. кр.-отт. 12,4 Уч.-изд. л. 11,6 Бум. л. 3,5
 Тираж 1223 экз. Зак. 1307

Орлена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
 2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

№-17

Б ОРДЫНКА 34/38 КВ 40

ТОЛСТОМУ Н И

70891

Цена 1 р. 20 к.

Индекс 70891

Щ